
Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ

МАРИЯ И ДУХ ИСПОДНИЙ

Повесть

Глава первая

Осенью 1942 года бригадир рыболовной бригады Феликс Горбатко стоял перед шеренгой спецпереселенцев. Все они были этническими немцами, выселенными в начале войны из Немецкой Республики Поволжья на север, в край Туруханский. В бригаде было двенадцать женщин, три подростка, четверо пожилых мужчин и один старик. Бригадир Горбатко, в противоположность своей фамилии, был прям, строен и крепок, истинно молодой дубок. Спецодежда — свободная непромокаемая куртка и брюки, заправленные в литые резиновые сапоги — сидела на нем так, будто говорили: никогда ни на ком мы не сидели так хорошо, как на этом парне. Глубоко надвинутый капюшон куртки не был сейчас затянут, и грянувший громкий порыв ветра снес его с головы, открылись волосы, густые, жесткие, темные у корней, словно подшерсток волка, дальше ярко-серые и совсем светлые на кончиках.

Феликс привычно, на автомате оглядывал, выхватывая взглядом из шеренги фигуры молодых женщин. Большинство из них были доставлены в поселок недавно и еще не потеряли своей привлекательности, это скоро произойдет с ними, от тяжелого мужского труда в жестких условиях севера они огрубеют, отощат, станут бесполовыми скелетами с равнодушными лицами. Чу! Глаза Феликса оживились. Он как раз внушал бригаде, чтоб никто не вздумал украдкой взять ни одной рыбки из улова, когда увидел в шеренге прямо перед собой девчоночку. Его искушенность подсказала ему, что вряд ли ей больше пятнадцати. Она была высокой, почти оформившейся, но еще оставалась в фигуре та милая неуклюжесть, медвежончатость, какая бывает у девочек-подростков перед тем, как они станут девушками. Феликс обратил внимание и на лицо: гладенькое, круглое, простодушное. Он не заметил бы, какого цвета у нее глаза, никогда не замечал таких мелочей, но глаза девчоночки были яркими, лазоревыми, как цветы, что летом островками росли на лугах Подкаменной Тунгуски, такие любой заметит. И рот. Робкий, удивленный, ни разу не целованный рот, это он сразу определяет. Бутончик, просто бутончик.

Он отвел от девчоночки глаза, крикнул, пересиливая шум нового порыва ветра:

— Начинаем лов. И чтоб работали как надо! Выловите больше плана, вся лишняя рыба ваша.

Бригада знала, что бригадир свое обещание держит. Свехрплановая рыба, которую голодные люди готовы были есть тут же, неочищенной, неприготовленной, придавала

Нина Орлова-Маркграф родилась на Алтае, в селе Андронове. Окончила Камышинское медицинском училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Печаталась в журналах «Москва», «Юность» «Вышгород», «Симбирск», «Алтай». Лауреат Международного конкурса им. Сергея Михалкова за сборник рассказов «Хочешь жить, Викентий?». Живет в городе Железнодорожный Московской области.

азарт работе, они кидались в ледяную воду, и шли по пояс, и вытягивали потом, надрывая кишки, огромный невод. Они знали, что в любой день могут насмерть простудиться, умереть от недоедания и слабости или просто утонуть, и потому задача ставилась очень простая, конкретная: одолеть этот день, а завтрашний будет завтра.

Двадцатые числа сентября здесь — поздняя смурная осень. Мутность утра чуть рассеивается днем, чуть сгущается к вечеру. Лишь черная безлунная беззвездная ночь четко очерчивает свое время суток. Остывшая вода Енисея вместе с теплом потеряла свою яркую синеву и лучистость. Река словно не рада прибывшим издалека людям, которые в течение многих лет будут теперь опустошать, вытягивать из нее рыбу большими стрежнями. Ближе к берегу уже шла по воде шуга, а на глубине плавали твердые ледяные пяточки и даже целые ковриги льда. Дело шло к ледоставу, но осеневка, как называли здесь осенний лов рыбы, протянется еще почти месяц. На берегу, очищенном от камней, длинные деревянные столы, врытые в землю ногами, рядом с ними тара — бочки для засаливания рыбы, большие ивняковые корзины. У самой кромки, носовой частью доставая воду, стоит рыболовная лодка-неводник с накинутым на борт стрежневым неводом. Запустомленную его сеть оживляют красные бубенцы поплавных грузил и закрепленных понизу кибасных. Один конец невода закреплен на берегу с помощью специального бревна, называемого рыбаками «бетой».

Спецпереселенец Роберт Иванович Крафт энергично вышел из шеренги, махнул рукой.

— Молотешь, тавай!

Роберт Иванович, как и многие из переселенцев, говорил по-русски с акцентом и ошибками, невпопад менял в словах звонкие звуки на глухие, путал женский род с мужским, а о среднем вроде и не подозревал. Ведро у него было она, окно он, дерьмо тоже он, да еще и «терьмо», но отвага, с которой он бросался в непостижимый поток русской речи, была вознаграждена, с каждым днем Роберт Иваныч говорил все внятней и понятней. Феликс самочинно произвел его в «старшие нарядчики» и оставлял за старшего. Подогнув под ремень фуфайку, Роберт Иваныч направился к воде. Восемь человек, которые должны были сесть на весла — двое ребят-подростков и шесть женщин, — быстро выдвинулись за ним, сломав шеренгу. За ними пошли остальные. Сбросив обувь, заправив повыше одежду, рыбаки входили в темную непроницаемую воду, казалось, что вода срезала им ноги по щиколотки. Двое толкнули лодку от берега, и все запрыгнули в нее. Гребцам удалось разогнать лодку, и она пошла по воде резво и послушно. Феликс, внимательно следивший за гребцами, удовлетворенно кивнул и повернулся к тем, кто остался на берегу, кому предстояло принимать рыбу, чистить и засаливать ее. Их было всего трое. Старичок Отто, сухой, почти бестелесный, из глаз его все время текли слезы, и он вытирал их пальцами правой руки в женской трикотажной перчатке, эта девчоночка и молодая женщина Вера Шихт. Черный шерстяной платок, повязанный чепчиком, полностью закрывал лоб Веры, ярко выделяя остальное лицо: резкие черные брови, серые глаза и коричневатого-красного румянца на смуглом обветренном лице. Вера что-то говорила девчоночке. Феликс услышал, как она назвала ее Морей¹. Маша, значит. На Маше были легкий пиджачок, юбка до щиколоток, на ногах летние тряпичные полуботинки. На голове совсем тоненький платочек. Феликс строго подошел к ней.

— Что за форма одежды? На гулянку собралась?

— У меня другой нету. Еще как плыли сюда, последнее на еду выменяла.

Девчоночка схватилась левой рукой за пуговицу своего двубортного пиджака и держалась за нее, как держатся за сердце.

¹ Морей, Моря — просторечная форма имени Мария в окающем волжском говоре.

— Man hat uns warme Kleidung ... — зябко простонал старичок. И тут же, спохватившись, исправился, произнес: — Одежда теплый обещали ...

Немцам-переселенцам не позволялось говорить на родном языке. Теперь благодаря развязанной Гитлером войне это уже был не язык Гёте и Гейне, а ненавистный всем язык фашистов. И переселенцы понимали это.

Замотанное шарфом туловище старичка Отто делало его похожим на темный скрюченный стручок, того и гляди, ветер унесет.

— Обещали бычка, а дали тычка! — хмыкнула Вера.

Феликс, даже не взглянув на Веру, с издевкой кинул:

— Тебя вроде не обидели.

И потом громко, повелительно:

— Работай давай. Все проверь: тару, ножи, соль.

Бригадир негодовал. Зубастая какая стала эта Верка! Он бы ее обломал, но комендант Сиухин горой за нее, Верка прямо приворожила его. Прохиндейка.

Бригадир взглянул на реку. В этот момент лодка, мчавшаяся на максимальной скорости, резко остановилась.

— Роберт Иванович, присмотри тут! — крикнул Феликс и помахал рукой, так, для порядка, отлично зная, что нарядчик его не услышит.

— А ты пошли со мной, — приказал он девчоночке и сначала медленно, а потом все быстрее пошел от берега в сторону поселения. Шагов ее он не слышал, но чувствовал, что девчоночка следует, куда следует. Феликс вел ее на склад одежды и инвентаря. Склад стоял последним в ряду новых построек, составлявших новый поселок. Они прошли барак и раздаточную, откуда выдавался хлеб на переселенцев. Дальше начинался небольшой лес. За высокими голыми стволами сосен, похожими на толстые неопушенные столбы, и меж зеленоигольчатых пихтовых пирамид виднелось одноэтажное, обшитое тесом помещение спецкомендатуры. Феликс обошел его подальше. Желтовато-карие, с красивой раскосинкой глаза его, словно зверушки из норок, смотрели внимательно, настороженно. Феликс побаивался коменданта Сиухина, человека, ему непонятного, хоть и был он его дружкой и пили они вместе чуть не каждый вечер. Феликс был уверен, что Сиухина, прибывшего на место службы из Красноярск, загнали сюда за какую-то провинность, уж такой он был весь унылый и обиженный. Феликс знал, что спецпереселенцы стояли у коменданта на учете, на каждого было заведено дело в отдельной папке. Указом этим бедолагам запрещалось удаляться от места поселения больше чем на два километра, и даже о таких передвижениях они должны были докладывать. Поначалу Сиухин требовал отмечаться в комендатуре каждый день, но потом понял, что хватил лишку, и велел отмечаться один раз в неделю.

Кружным путем вышел Феликс на тропку, ведущую к складу, низкой бревенчатой избушке без крыльца, с маленькими окошками. Когда откомандировали его сюда, он, считай один, эту избушку ставил и под склад, и для себя. Правда, Феликс лишь ночевал на складе, вся остальная жизнь проходила на работе и в попойках с Сиухиным. Он оглянулся на девчоночку.

— Пошевеливайся.

Пропустил ее вперед и теперь шел, обшаривая взглядом всю от затылка до щиколоток. Она шла, чуть наклонив голову, так, что между воротом пиджачка и платком видна была белая оголенная полоска шеи. Подошли к складу. Феликс открыл навесной замок и толкнул дверь.

— Заходи.

Мария вошла и сразу увидела кучу одежды, которая лежала прямо на полу у правой стены. Тут было несколько гимнастерок, бушлатов, шаровар, ватных штанов, сваленных

друг на друга, солдатских шапок со споротыми звездочками, войлочные чувяки и даже одни женские боты. Мария сразу их увидела. Почти новые резиновые боты, выстланные розовой байкой! Вся одежда в куче была ношенная, содранная с живых или снятая с мертвых. Новой специальной одежды, особенно для зимней ловли, Феликс ждал уже второй год, но так и не получил. Не было ни одной пары сапог, хотя они и полагались рыбакам, про рукавицы и говорить нечего. Но он что-то подберет для этого розанчика. Бригадир порылся в куче, нашел почти новый полосатый матросский тельник, выбрал бушлат, стеганные штаны, шапку, все бросил на табурет, стоявший между столом и кроватью, настоящей кроватью! — отметила Мария. Щедрым движением положил к высоким ножкам стройного табурета боты, словно приглашая его обуться. Взглянул на Марию. Она все еще стояла у дверей.

— Проходи!

Мария прошла, протянула руку к бушлату. А бригадир тем временем вынул из стоявшего в углу шкафа-колонки два тонко порезанных кусочка хлеба и положил их на стол. Точно такие давали им по утрам перед работой. Она замерла с бушлатом в руках, на время перестав замечать что-либо, кроме этих кусочков, осознавать что-нибудь, кроме того, что на столе лежит хлеб.

— Ну что замерла, как померла? Боисся, что ли? Я тебя не съем.

Феликс стоял, прислонясь к столу. Верхний ряд зубов обнажила улыбка.

— Лучше ты его съешь.

Голод не дал Марии долго раздумывать. Этот темный липкий хлеб слаще манны небесной! Она шагнула к столу, а Феликс шагнул встречь, протянул руки, обхватив чуть ниже плеч, потянул к себе с силой. Он стоял теперь спиной к кровати. Мария пыталась отпрянуть, податься назад, но Феликс держал ее цепко, сильно. От напряжения ли, от страха что-то сделалось с ее сознанием, ей казалось, что она дома вечером гуляет на своей улице со сверстниками и кто-то из парней в шутку схватил и держит ее.

— Отпусти, — сказала она резко и сердито.

Феликс, улыбаясь, продолжал держать ее. «Отпусти», «не надо» — когда эти слова произносит женщина, они ничего не значат.

— Не хочешь хлеба?

Он ослабил руки, но не выпускал ее.

Мария неожиданно с силой дернулась, вырвала, можно сказать, выдрала свои плечи из его рук. Молниеносно присев, схватила его за колени и с силой толкнула. Феликс упал на кровать, распластавшись поперек, разбросав руки в стороны. Мария, схватив одежду с табурета, повернулась и быстро пошла к выходу. У самой двери она вспомнила про хлеб. Хлеб! Она должна его взять. Она метнулась к столу, схватила кусочки, на ходу сунула в карман бушлата и устремилась к двери. Феликс, мягко спрыгнув с постели догнал ее. Словно железные клешни обхватили Марию.

— Хлеб воровать?

Голос его не был строг, скорее шутлив. Его рассмешило, что девчоночка вернулась за хлебом. Но Мария испугалась. Своровала! Феликс ведь может сказать об этом коменданту. А комендант? Он расстреляет ее за это. Тут, на севере, так. Только вчера в другой бригаде женщину за то, что она утаила рыбку, бригадир держал в ледяной воде, пока она не потеряла сознание и не погибла. Мария покачнулась, тело вдруг перестало держать само себя, и Феликс, подхватывая ее на руки, что-то шепча и весь каменея от возбуждения, понес ее на кровать, откинул в сторону одеяло, положил на постель. Он что-то зашептал, но так тихо, словно бы сам себе, она услышала лишь, как он назвал ее Маша, и взглянула на него.

— Не бойся, Маша.

Глаза его блестели ласково, упрашивающе.

Он раздел ее.

Мария лежала, сжавшись и скрестив руки, укрывая ладонями груди. Феликс невольно засмеялся, до чего забавная это девчоночка! Он сбросил на пол расстегнутую куртку, снял рубаху, дальше разделся в постели. Лег на нее, чувствуя под собой мягкое и одновременно упругое, неопишимо гладкое тело девушки. Властно тронул руками колени, размыкая их. Ноги, как волшебные створы ворот, послушно растворились, и он не спеша, не жадничая, не ломая себе удовольствия, вошел. Мария вздрогнула от первой боли. Ее колыхала какая-то внешняя неистовая сила, впечатывала тело в кровать.

Потом она услышала, как он коротко взвизгнул, проскулил, как кутенок², и тело, давившее ее, обездвижело, замерло. Мгновение Феликс лежал бессильно и неподвижно, потом пошевелился, сполз и оказался с ней рядом. Мария не двигалась. Платок давно слетел с головы, толстые косы, подколотые вверх маленькими металлическими приколками, упали и лежали, истерзанные, по обеим плечам. Она снова прикрыла грудь руками и беззвучно заплакала, было одиноко и страшно, и, не находя к кому прикинуться, она уткнулась мокрым лицом в плечо Феликса. Но он отодвинулся, и голова ее упала на постель. Бригадир встал, быстро одеваясь, проговорил:

— Вставай. Одевайся.

Он снова пошел к шкафу-пеналу и, вернувшись, положил на кровать завернутый в клочок магазинной бумаги другой кусок хлеба, побольше и неразрезанный. Положил на кровать.

— Возьми.

Мария, подогнув под себя ноги, привстала с постели и чуть не вскрикнула. Простынь в нескольких местах была закапана кровью. Пока она одевалась, серая ткань постели впитала ее в виде нескольких темно-красных пятен! Ее кровь на чужой постели! Стыд! Какой стыд!

Мария шла на берег, широко расставляя ноги, так ей было легче идти. Бушлат и широкие ватные штаны немного скрывали ее странную неловкую походку. Голод язвил, ел желудок. Она достала из кармана хлеб, тот, что был одним куском, а два тонких решила приберечь. Глотала непрожеванные толком кусочки хлеба. Глотала больно распирающий горло соленый комок. Хлеб и слезы соединялись в одно.

Стыд! Какой стыд! Простынь запачкала. И бригадир будет на это смотреть! Господи, лучше ей умереть! Нет, Господи, не лучше. А отец? А мама Таня? И ведь тогда она никогда не увидит брата и маленькую сестренку.

* * *

Феликс, усмехнувшись, набросил на постель одеяло. Увидел сброшенную на пол юбку и туфли Марии, схватил это барахло и засунул в сундук, где лежали у него куски оленьей кожи хорошей выделки, пара собольих и песцовых шкурок и другая добыча по мелочи. Он достал из пачки папиросу «Беломор», подарок уполномоченного НКВД, недавно привезшего новую партию переселенцев. Сел на кровать, закурил. Бодрость и легкость в теле была необыкновенная. «Как будто крови оленя выпил», — удовлетворенно подумал он. Поднял куртку, расхристанную на полу у кровати. Надо идти к бригаде. За ними глаз да глаз, только отойди. Но он довольно усмехнулся — отойти иногда жизненно необходимо.

Феликс не считал себя злодеем и жестоким человеком, хотя при его работе некоторая жесткость в обращении была сама собой разумеющейся. Но он был сластолюбцем,

² Кутенок — щенок.

а при такой доступности и безнаказанности, сладострастие, как костер, в который бросают в достатке наготове лежащие дрова, разжигалось день ото дня. Костер этот голодно урчал и требовал: еще, еще. Ну что ему теперь делать? Это, может, только и сохраняет в нем интерес к жизни и бодрость, это его женьшень. И ходить за ним далеко не надо.

Мария заторопилась, подходя к берегу, Вера махала ей: скорей, скорей, и когда она подошла, Вера причмокнула:

— Ах, Моря, какую на тебя бушлатку ни надень, ты все яблочко наливное!

Вера тоже была в бушлате, но к ее низкорослой фигуре он мало шел, сидел малахаем. Она внимательно глянула на Марию. В ее прищуренных глазах вдруг вспыхнул быстрый напряженный огонь, как в лампочке перед тем, как перегореть. Вспыхнул и тут же погас. Она приобняла Марию.

— Пойдем, нам работать надо!

Они сбежали с берега и направились к самой воде, куда подошла лодка. Рыбаки, спрыгнувшие в воду, тянули невод. Вера с Марией, сбросив обувь, зашли на песчаную, чуть укрытую водой отмель и присоединились к ним. Мария поразилась. Невод был тяжелее бревен, которые пришлось ей носить прошлую зиму на плечах с другими женщинами-переселенками. Но вот стала видна мотня, в которой кишела рыба. Вывалив рыбу в похожую на огромное корыто плетеную тару, рыбаки закинули освобожденный невод в лодку, столкнув ее с отмели, запрыгнули и опять погребли на глубину.

Подошел Феликс. Взглянул на улов и быстрыми шагами сошел к кромке берега. Рыбаки как раз сбросили в воду невод.

— Расправляй скорей, чего телишься! — крикнул бригадир.

Невод был расправлен раньше, чем слова Феликса долетели до рыбаков. Его громадная сеть поднялась, и образовала высокую, метров в пятнадцать стену, называемую здесь дель.

Вера с Марией взялись за обработку рыбы. Вера, уже второй год попавшая на осенку, работала быстро, ловко, Мария старалась не отставать. Она была привычна к любой работе: дома, в деревне детей брали в помощники рано. Она взглядывала на реку. Насупленный, бусой сентябрьский Енисей был похож на Волгу, какой она бывала в середине декабря, когда подступали холода, а потом и морозы, и Волга покрывалась ровным, опрятно поблескивающим льдом. И Мария стала воображать себе, что это декабрьская Волга, так было легче. Прибежали дети Роберта Ивановича, одиннадцатилетние двойняшки, сын Петер и дочка Мина, узнать, большой ли улов и нужна ли помощь. Феликс поставил их промывать очищенную рыбу и помогать старичку Отто засаливать ее. Двойняшки резво взялись за дело, в надежде получить свой личный паек. Всякий раз когда Мария слышала голос бригадира, она умирала от стыда. Один раз ей даже слышалось, что он зовет ее, но нет, Феликс был занят рыбаками, кричал, указывал, куда им лучше заводить невод, и сам, разувшись и сбросив куртку, зашел к ним в воду. Так шел день. Вера торопила ее: давай, давай, обработаем всю рыбу дотемна, получим пайки побольше, припасем остаток, не каждый день хорошо ловится. Дедушка Отто молотком на низком плоском чурбане раскалывал комки соли, толоч ее, двойняшки пересыпали солью рыбу, перемешивая ее деревянной лопаткой на длинном черенке.

Начало смеркаться. Скоро ничего нельзя будет толком разглядеть. Феликс кликнул отбой.

— Давайте тут заканчивайте. Яша, повезешь засоленную рыбу в приемку. Возьми еще кого-нибудь с собой.

Яша-гармонист с готовностью кивнул. Он был сыном одной из спецпереселенок, Лизы Грас. Яша при переселении прихватил из дома свою гармошку. Мать противи-

лась. Продукты, вещи нужно взять, а разрешенный вес невелик, какая тут гармошка. Но Яша сказал, что он ни разу ее с плеча не снимет, и так и проехал весь путь от Волги до Енисея с гармошкой на плече. Играл каждый вечер, засыпал, свесив на гармонь голову, а пальцы продолжали играть.

— Девки, невод несите на просушку, — командовал Феликс. — Роберт Иваныч, поделишь излишки!

— Как тут холодно! Лучше б мы в воде остались, — ныл в темноте раздраженный ломкий голос подростка, а материнский виновато увещевал:

— Потерпи, сынок, сейчас в тепло пойдем, ухи наварим.

* * *

Барак, в который один за другим входили рыбаки и рыбачки, был освещен несколькими лучинами и огнем самодельной печки. Справа и слева от прохода — нары в два этажа, сколоченные из наспех оструганных занозистых досок. Каждая семья на них занимала свой участок. Вечером печку раскопегаривали так, что она пахла каленым железом, женщины торопливо готовили на ней ужин, варили рыбную похлебку. Вокруг развешивали мокрую одежду на просушку. Днем печку понемножку топила ома Анна, большая грозная старуха, которая оставалась на хозяйстве и присматривала за всеми маленькими детьми, ведь матери уходили на весь день. В прошлую зиму она сильно обморозила пальцы рук, пошел некроз, и теперь у нее на левой руке обитал лишь один сухой, согнутый в верхней фаланге, обтянутый морщинистой кожей палец, который все же хорошо помогал остальным шести. На ому Анну женщины, уходя на весь день работать, оставляли детей и пайки хлеба на каждого ребенка.

Мария вошла в барак. Холодно, холодно, холодно! Будто лед натолкали ей внутрь и оставили навечно. Она прошла к нарам, бросилась на них прямо в верхней одежде. Лицо горело, руки целый день пробыли мокрыми на холодном ветру и теперь от тепла мучительно зуделись. Соседкой Марии была Вера. Свое законное место на нарах Вера отделила цветастым куском ситца, прикрепив его к доскам верхних нар. Так делали здесь многие семьи. Эту нарядную с яркими цветами ткань Вера вывезла из дома, многие хозяйки любили делать цветастые занавески, и у Марии в доме были такие. Просыпаясь по утрам, Мария первым делом смотрела на Верину занавеску, представляя, будто бы проснулась дома и еще не началась война, и она сейчас пойдет завтракать. Было и еще одно, что заставляло ее мгновенно вскакивать с нар, — это запах хлеба. Первое движение, первые шаги после того, как спецпереселенцы поднимались утром, были туда, к ящику с пайками. Его приносили перед построением на работу Роберт Иваныч и Яша-гармонист под приглядом бригадира. Яша ловко раздавал хлеб, а Роберт Иваныч следил, чтобы хлеб достался всем, как положено.

Негромкий приглушенный гул наполнял барак: отрывистый редкий говор мужчин, плач малышей, ослабленные, они плакали тоненько, негромко, голоса матерей, успокаивающих или покрикивающих на них, громыхание посуды у печи, где женщины варили рыбную похлебку. Излишек рыбы Феликс, как и обещал, отдал, но был он небольшим. А надо всех накормить горячей похлебкой, в первую очередь детей, и тех, кто работал и мерз в воде, на ветру весь день, и тех, кто лежали больными, ослабленными, уже не принося никакой пользы. Хоть кусочек рыбки должен попасть каждому. Мария лежала, глядела в чуть освещенное желтовато-мутное пространство, часто дыша, вдыхая воздух барака. Обычно душный и одновременно сырой, отдающий плесенью, и кисловатым, ей казалось, овечьим запахом сохнувших вещей, и трудовыми телами людей, и детскими мокрыми пеленками, и рыбой, этот воздух пах сейчас лишь складом,

вещами и постелью Феликса. То физиологическое, что сделал с ней Феликс, она воспринимала как-то отвлеченно, отстраненно от себя. Сознание фиксировало лишь одно: стыд от того, что она оставила на простыни кровь. Темно-красные, впитавшиеся в простынь пятна. Ровный гомон барака отдалился и смолк. Она вновь лежала на кровати Феликса без одежды, укрывая ледяными ладонями грудь. Лежать было неудобно, панцирь кроватной сетки впечатывался в позвоночник, резал спину, она приподнялась с кровати и не то почувствовала, не то увидела, что из нее струями изливается кровь, из носа, ушей, глаз, низа живота, и даже из-под кожи круглыми каплями проступала кровь! Видимо, она закричала, потому что, открыв глаза, увидела около себя Веру Шихт. Вера стояла, склонившись к ней неподвижным, не выражающих никаких чувств лицом, такие лица бывают у врачей, ежедневно видящих боль и страдание.

— Тихо. Уснула ты. Садись.

Вера взяла ее за плечи.

— Похлебка готова. Иди к котлу быстрее.

Мария осторожно оглядела себя, уже понимая, что ей приснился кошмар. Все же ошупала лицо, уши, засунула руки в рукава бушлата, все сухо, никакой крови. Встала и пошла к котлу. Как всегда, голод съедал желудок. У нее не было своей миски, на століке стояли миски тех, кто уже поел, и она взяла первую попавшуюся, сработанную из консервной банки для сельди посудину и самодельную деревянную ложку. Налила из котла рыбного варева. Быстро хлебала теплый бульон, в котором отыскивала мелкие ошметки рыбы, иногда попадалась чешуя, и она не выплевывала ее, а безразлично проглатывала. Это варево успокоило, заглушило голод. У нее еще остался маленький кусочек хлеба, который она съест отдельно. Мария вернулась к себе, забралась на нары, так и не сняв верхнюю одежду. Вера, уже лежавшая, отодвинула ширму, приподнялась, тихо сказала.

— Живи, Моря, вроде как ничего не случилось. Куда нам деваться? В небо далеко, в реку глубоко. Кончится война, и все кончится. Домой поедешь.

Мария ничего не ответила, не подняла прикрытых век. Ее детскую душу укачивали слова «домой поедешь, домой поедешь...». и она забыла про все, отдаваясь, уходя во что-то чистое, свежее, радостное.

А Вера Шихт не могла уснуть. Она ненавидела Феликса. Ненавидела его красивое лицо, приказы, смех и беззлобные, в общем-то, шутки с переселенцами, ненавидела даже его великодушное решение отдавать в котел спецпереселенцев сверхплановую рыбу и ненавидела одежду, которую он ей выдал. Она вынуждена была носить ее, но носила с отвращением и собиралась во что бы то ни стало надыбать себе что-нибудь к зиме, а эту вернуть, швырнуть ему в морду. Когда они прибыли сюда с мужем осенью 1941 года, он и ее сводил на склад, она получила одежду и обувь для осенней рыбалки, а муж еще благодарил его. На складе Феликс сообщил ей, что их с Виктором со следующим парходом отправят дальше, в Дудинку. Виктор, измученный, морально уничтоженный, не выдержал бы этого нового переселения. Феликс пообещал, что решит этот вопрос, и она приняла его условия. Но она взрослая женщина, перетерпела, и все. А тут девчонка. Ей шестнадцати, поди, нет. Не человек он, даже не зверь. Дух исподний³ — вот он кто. Накажи его Бог, низвергни до самого ада!

Вера Шихт была русской по национальности, но женой немца-спецпереселенца Виктора Шихта. Она влюбилась в него, еще когда училась в старших классах их большой сельской школы. Отец привозил Виктора с хутора к ним в школу, он хотел, чтобы сын обязательно получил среднее образование и шел учиться дальше. Красивый, спокойный, неговорливый паренек нравился боевой, веселой Вере. С этих школьных лет

³ Дух исподний — дух нечистый.

все и началось. После школы Виктор ушел в армию, отслужив действительную, как многие тогда выходцы из деревень, остался на сверхсрочную службу и собирался поступить в военное училище. А пока служил в воинской части под Саратовом. Сюда приехала к нему Вера, и они поженились. В конце 1940 года у них родился мальчик Алекс. Вера была веселой, работающей хозяйкой. Виктор ценил слаженную семейную жизнь, спокойствие и порядок в доме, это были твердые основы их жизни. И это была хорошая жизнь. Он любил жену и сына спокойной оберегающей любовью.

Вера вздохнула. И ничего не осталось. А воспоминаний, лучше не надо их. Только дай душе волю, и мгновенно встанет перед глазами проклятый этот полустанок посреди североказахстанской степи и длинный состав из дощатых вагонов. Она стоит неподалеку от состава, у края степи, упрямо прижимая к себе прикрытого платком мертвого годовалого сына. Она видела себя как бы со стороны, например, что подол ее темно-синего платья сильно помят, а спина твердая, застывшая, будто из синего камня. Она каменеет, холодеет вместе с сыном. Ощетинившаяся сухой колкой травой земля. Яростная спина мужа. Виктор рубит, раздирает солончак маленьким топориком, который дал ему старик из их вагона, прихвативший с собой в дорогу не только чемодан с вещами, но и плотницкий инструмент. Старик ехал рядом с ними в вагоне от самого начала, со станции Покровская. Станция находилась в городе Энгельсе, столице автономной немецкой республики на Волге. В августе 1941 года несколькими эшелонами вывозили отсюда в Красноярский край депортированное население.

Вера отняла сына от груди в конце августа, и теперь уже молоко перегорело, это была роковая ошибка. Ребенок не смог приспособиться к той воде и еде, которую она могла ему дать в дороге. Десять дней он дышал воздухом, который выдыхали легкие восьмидесяти человек ехавших в этом вагоне, заразой, испарениями туалетного ведра. Они прибыли в Туруханск только в сентябре. Виктор после смерти ребенка и тягот, которые встретили их на поселении, впал в угрюмую раздражительность и отчужденность. Его заперли здесь и издеваются, тогда как идет война с фашистами, и он мог принести много пользы. Ему, кадровому военному, больше не доверяют. Его называют предателем и фашистом. Вера знала: Виктор винил ее за то, что она не сохранила сына. Когда стало известно о депортации немцев, он предлагал ей написать отказ от него и остаться с сыном на родине. Но она не захотела. Осталась Верой Шихт и поехала с ним. Она и сейчас думала, что не смогла бы спокойно жить, если бы отреклась, предала, отказалась от мужа и его фамилии.

Через полгода после того, как они оказались здесь, Виктора забрали на принудительную трудовую повинность в рабочие колонны, как и всех немцев моложе пятидесяти лет. Их держали на казарменном положении при лагерях НКВД, на шахтах, рудниках, лесоповалах — в огороженных охраняемых зонах. Сами призывники называли себя трудовой армией, надеясь, что они, не допущенные воевать, станут бойцами трудового фронта. Но, по сути, рабочие колонны стали лагерем заключенных — с бараками за колючей проволокой, часовыми, каторжной работой и усиленным надзором. Виктор попал на Урал, на угольные шахты. Прощаясь, он сказал Вере, что будет проситься на передовую, а если не получится, сбежит и все равно найдет, как уйти на фронт. Теперь Вера знала, что ему удалось сбежать на фронт. Он назвал себя Виктор Шихтов. Получив письмо о гибели мужа от его друга, с которым они вместе бежали на фронт, Вера смирила свою скорбь мыслью, что он, такой гордый и честолюбивый, не жил в унижении и не погиб как многие трудармейцы от тифа или дизентерии, лежа в собственных испражнениях, а погиб как герой на передовой, и когда-нибудь об этом станет известно. Он выполнил свое предназначение, прожив на свете двадцать семь лет, разве дело в том, сколько конкретно лет проживешь на свете? А она? В Вере

Шихт оставалась никому и ни за чем не нужная жизненная сила, какая, быть может, есть в сорной траве — вытравит угрюмый хозяин все сорняки начисто, но один неискоренимый росток, оправившись от страданий, снова поднимается, и зеленеет, и утверждает свою жизнь. Она не проклинала свою жизнь. На тысячекилометровом пространстве вдоль Енисея — от Туруханского края, реки Нижняя Тунгуска до Енисейского залива, за которым, считай, Северный Ледовитый океан, везде спецпереселенцы, у всех одна судьба. Она спрашивала себя, и этот вопрос маячил, повисал, раскачивался перед ней, словно незатянутая петля. Неужели родить и похоронить единственное дитя — это все, что ей было суждено? Если не умерла она тогда в пути на север вместе с ребенком в вагоне-скотовозке или в темном холодном трюме парохода, когда везли их от Омска до этого поселка, если не сдохла здесь от голода, заразы, отморожения, значит, ради чего-то. Она не сможет поступить так, как сделала Анна Горн, бывшая ее напарница по лову, ушла из жизни, применив снасть в качестве удавки. Раз в неделю Вера писала письма-заявления, что она, жена немца, просит отправить ее на фронт, она хочет искупить свою вину, воюя с фашистами. Приходя в спецкомендатуру отметиться, она отдавала их Сиухину. Семен Сергеевич, просмотрев первое письмо, смял и выбросил его в мусорный ящик вместе с другими, не прошедшими цензуру. Выдумала чего! В те же рабочие батальоны и попадет. Он сочувствовал Вере. Мало что русская, к тому же оказались его землячкой. Легкое мягкое оканье Веры, каким разговаривали в их краях, волновало его сердце. И Вера держалась с Сиухиным просто, по-землячески. Если он заговаривал с ней, отвечала не робея и так хлестко шутила, что пребывающий в мрачном состоянии духа Семен Сергеевич громко, от души смеялся. Всякий раз эта переселенка Вера, немного даже дерзкая, снимала с него тоску, и ему уже не казалось таким безысходным его положение, что его заслали сюда, и что жена, не поехавшая с ним сюда из Красноярска, живет теперь с другим человеком, важным чином НКВД. «Да и пусть живет с этим Угодиным, — думал он. — На кой мне она? Даже ребенка не родила, курва с котелком! А я еще ей соболей покупал, песка серебристого! Лучше вон Верке все отдам!»

Сиухин решил вытащить Веру, снять с нее клеймо спецпереселенки и все делал для этого.

Глава вторая

То, что произошло у него с девчоночкой, Феликс собирался безвозвратно забыть, как забывал он все случаи такого рода. Исчезало сладостное чувство освобождения, полного плотского удовлетворения, и исчезала память о предмете, доставившем ему все это, он и лиц этих баб не помнил. Но забыть девчоночку что-то не получалось. И дело не в том, что Маша ежедневно была у него на глазах, он перевел бы ее в другую бригаду, чтоб глаза не мозолила. Тут было что-то другое, а что, он сам не понимал. То вдруг брала его досада, что он вообще взял эту малолетку, то точило чувство вины, то страх, какой испытывает, быть может, переступивший черту вор, перейдя в разряд мокрушников. Поначалу Феликс отмахивался. Да ладно, что он ей сделал? И силы никакой не применял. Она и не брыкалась. Лежала тихо, как связанная овечка. Одел, обул. Еще и хлеба дал. Он не насильник и ни в чем не злодей. Возьмем рыбалку. Он не раз замечал, как эти доходяги ногтем рыбешку чистят и тут же заталкивают себе в рот, глотают не жуя. Сырую, без соли. Голодному Федоту все в охоту. Хоть раз отобрал он у кого? А ведь не положено. Он, Феликс Горбатко, не урод, не старик и не грубый насильник. Он молод, красив и ласков с женщинами! Но это оправдательная речь перед самим собой мало помогала. И ему все не удавалось забыть, как уткнулась

девчоночка ему в плечо своим влажным, свежим, как морошка, лицом и словно вмятинку там оставила. Эта вмятинка взывала к нему, смущала, доводила до беспокойства. Вместе с тем вмятинка стала и некой точкой эротического волнения, она заставляла вспоминать свидание с девчоночкой на складе и мечтать о новом.

Феликс знал: среди переселенцев ходил слух, что он тоже бывший ссыльный. В общем, так и есть. Он был из семьи раскулаченных и сосланных в Туруханск из-под Самары. Ему шел тогда девятый год, сестре Александре было двенадцать, а младшему брату шесть. Их высадили с парохода на безлюдном берегу в трех километрах от станка⁴ Томбаево. Отец нашел заброшенную факторию по скупке пушнины, там они расположились. Мать и младший брат Санечка умерли в первый же год от одной и той же болезни, здешние люди говорили, что это сибирская язва. Феликс почти ничего не помнил, ни жизни в этот первый год, ни мертвой матери и брата, ни похорон, словно память его отморозили страшные туруханские холода. У него вообще с памятью было что-то не так. Он и раннее, счастливое, проходившее в достатке детство, о котором грезил и твердила не переставая сестра, не помнил. Так, две-три мутных картинки и только одна четкая, подробная, но уж очень короткая. Они куда-то идут с матерью, мать очень молодая, наверное, моложе, чем он сейчас, в ярко-зеленом с кружевами платье, мягко, шелково держит его за руку. Он одет во что-то тесное, неудобное и хнычет. Мать наклоняется к нему и гладит по голове. Никогда за всю жизнь он не испытывал больше такого приятного прикосновения. Вот и все воспоминание. Да и к лучшему. Зачем вспоминать.

Отец с Феликсом и Александрой, красивой, серьезной не по годам хозяйкой, прожили на отшибе шесть лет. Отец промышлял охотой, вступил в охотничью артель, сдавал пушнину. Поначалу сына брал с собой редко, говорил Феликсу: охраняй дом и сестру, управляйся с огородом. Они расчистили участок у дома, сажали картошку, капусту, редьку, репу, даже морковь. Голод отошел от них. Сестра в восемнадцать лет пешком ушла в Туруханск, там устроилась работать на пристань, вышла замуж за матроса с одной из барж, которых много до войны ходило по Енисею, и уехала с мужем в Омскую область. Феликс остался с отцом, одряхлевшим, ослабевшим от суровой жизни, от мрачности, которая не покидала его после смерти жены и младшего сына, Феликсу казалось, что если бы умер он, а не Санечка, отец бы не дал себе сокрушиться, разрушиться, или Санечка не дал бы отцу, он был любимец всех, ласковый радостный мальчик.

Теперь охотился пятнадцатилетний Феликс, а отец оставался на хозяйстве. Так вдвоем прожили они еще два года. Вернувшись однажды, Феликс застал отца спящим на топчане около печи. Никогда не было такого, чтобы отец днем прилег, а тут еще лето, работы невпроворот, отец второй день окучивал огород, Феликс когда проходил в дом, заметил лежащую на земле тяпку. Он окликнул отца, подошел, наклонился к нему и понял, что он не дышит, что он умер. Феликс выскочил из дома и побежал в Томбаево, где отца знали. Несколько мужчин помогли похоронить его, а Наталья Быстрова устроила поминки, наварила кутьи и все провела как положено, выпили и помянули Алексея Иваныча Горбатко. Жалея сироту, Наталья позвала Феликса к себе в помощники на хозяйство. а был он уже и тогда крепким и красивым парнем. Наталья, немолодая, как думал Феликс, женщина лет тридцати, самостоятельная, властная, сама управлялась с хозяйством. Муж ее Николай за год до того утонул на Подкаменной Тунгуске, не оставив потомства. Феликс жил у Натальи полтора года и никогда не мог забыть, как он уставал, доставляя этой женщине удовольствие, какое он чувствовал опустошение и унижение от ее грубых приказов и бурных признаний в любви. Однажды он сделал вид, что пошел на охоту, именно на охоту, потому что не хотел оставить у нее свое ружье, и не вернулся к ней. По примеру сестры пешком ушел в Туруханск,

⁴ Станок — поселение.

нашел работу, даже пошел в вечернюю школу. А через год началась война. В Туруханский край, в самые необжитые места доставляли спецпереселенцев, и особенно много из расформированной Немецкой Республики Поволжья. Для управления ими нужны были молодые крепкие люди, знающие здешнюю жизнь, не боящиеся местных условий, не бегущие из этих мест всеми правдами и неправдами. Его поставили бригадиром одной из новых групп переселенцев и направили сюда. Так он снова оказался в нескольких километрах от Томбаева. Многие из ссыльных, выбившиеся в начальники, лютовали, были жестокими и беспощадными к этим доходягам. Выслуживались или просто вымещали на них свою обиду на судьбу. Но не Феликс. Он не такой... От матери ему досталась польская кровь, она смешалась с русской и татарской отца. Это скрещение дало внешне необычный и красивый экземпляр, но характеру повезло меньше. Бодрый дух и, в общем-то, спокойное расположение ко всему вдруг сменялись в Феликсе мрачностью и озлобленным истеричным состоянием. Тогда он пил всю ночь один, разговаривал сам с собой, плакал сам перед собой: его никто не уважает, он последнее дерьмо и сам это знает, он сын ссыльных родителей, а теперь сам надзирает за ссыльными, ведь любой бригадир ссыльных — надзиратель. А что ему было делать, куда идти одному, брошенному, сироте, он с шестнадцати лет один как перст. Феликс выкрикивал ругательства и угрозы и засыпал прямо за столом, положив на него свою горькую голову, как на плаху. Проспавшись, быстро наводил порядок на столе и вокруг, поднимал с пола сброшенную посуду и все, что скинул со стола в ночном своем буйстве, это мог быть рожок, подарок одного эвенка-оленевода, охотничий нож, непременно вынутый из ящика во время пьяных угроз и обещаний всех прирезать, алюминиевый ковш с остатками воды или пепельница-самоделка, полная окурков. Он мылся, брился опасной бритвой, которая досталась ему от отца и была привезена еще из Самары, и, чувствуя, что кризис миновал, обновленный, полный энергии, шел на работу.

Бегая по берегу, рассыпая приказы, окрики, просьбы и угрозы — все годилось для главной цели — выполнения плана по ловле, — Феликс останавливал взгляд на Маше. Работала она усердно, красные, как гусиные лапки, руки так и мелькали, она выхватывала из корзины рыбу, быстро потрошила, кидала в бочку и хватала следующую. Чувствуя его взгляд, поднимала голову, он подходил и говорил что-нибудь: пусть Роберт Иванович нож наточит, тупым работаешь, или: почаще растирай руки, а то пальцы онемеют. Мария кивала, голубые глаза смотрели на него тихо и послушно, а он думал: небось убила бы, если могла. Как и Верка.

Как-то вечером Феликс зашел к Сиухину в спецкомендатуру, в просторный и тщательно прибранный кабинет начальника. Ида Крафт, жена Роберта Иваныча, убирала его в течение всего дня, мыла пол, держала в чистоте стол, прибирала «спальню», часть комнаты, отделенную занавеской, готовила еду и подносила чай. Кабинет был пуст. На столе лежал знакомый Феликсу журнал по учету спецпереселенцев и рядом смятая пачка «Беломора». Феликс тряхнул пачку, вынул одну-единственную папиросу, совершенно целую, видно случайно оставшуюся в ней. Он спрятал пачку в карман куртки. Взгляд упал на журнал учета. Меж открытыми страницами друг на друге лежали несколько писем и отдельно серого цвета конверт с несколькими штемпелями сверху. Феликс увидел имя адресата и сразу понял, кому оно. Он теперь уже знал, что Маша, Мария Варум, была депортирована вместе с отцом. Сначала их поселили в одном из колхозов под Омском, а потом Артур Варум был призван в трудовую армию, а Машу вместе с большой партией спецпереселенцев отправили в Енисейск и, как только открылась навигация на Енисее, пароходом доставили в Туруханский край. Вот почему она оказалась здесь одна.

Феликс взял письмо, сложил его вчетверо и упрятал туда, где уже лежала пачка с единственной папиросой. Если кабинет не заперт, значит, Сиухин вот-вот вернется, но Феликс не стал ждать и с радостным чувством, похожим на то, какое испытывал он на охоте, когда добыча сама шла в руки, отправился к себе на склад. Войдя, он зажег лампу, вынул содержимое кармана. Папиросную пачку бросил на кровать, конверт расправил и увидел, что он вскрыт. Феликс вынул письмо. Многие строки были вымараны, Феликс пробежал по оставшимся: у меня все хорошо, я забойщик в шахте... Остановился на фразе: женщин тоже теперь берут в трудармию по закону с шестнадцати лет, а тебе уже шестнадцать, только бы не в шахту, майне либен тохтер...

— Ну, папаша, это мы проследим, — сказал шепотом Феликс.

Его отношение к Марии претерпевало странные изменения. Сначала его злило, что не удастся выбросить ее из головы и перестать беспокоиться, потом он нашел удовольствие в своем чувстве томления и желании снова взять ее и наконец стал думать о ней как о своей собственности. Она будет под его началом столько, сколько он в этом будет нуждаться. Она будет снова и снова приходить к нему.

Феликс читал письмо дальше: надеюсь на разгром проклятых фашистов, нашу победу и встречу. Подпись (Артур Варум) была сделана по-немецки. Ценность такого письма для получившего его состояла в самом письме. Оно свидетельствовало о главном, что 17 сентября 1942 года, а именно эта дата написания стояла в нем, отправитель был жив.

Глава третья

Летний лов завершился. Начинался ледостав. На время, пока прочный лед покроет реку и бригада выйдет на подледный лов, людей своих Феликс разбросал на разные работы. Двое из бригады — изможденная, ставшая худой, черной, как смерть, и несколько помешанной Ирма Кац, говорят, она потеряла двоих детей во время пути сюда, а с ними и разум, и седенький слезливый старичок Отто — слегли. Оба недолго протянут. В этом не было для Феликса ничего особенного: спецпереселенцы умирали пачками. Хорошо, что эти двое сейчас умрут, еще можно будет похоронить в землю. А то в прошлую зиму покойники-переселенцы лежали замороженные, прикрытые ветками на снегу, весны ждали.

Роберта Ивановича и еще пятерых Феликс послал на заготовку леса. Пообещал, что и тут, как с рыбой, какие излишки будут, все отдаст им на дрова, чтобы не померзли, на хрен, зимой в своем бараке. Но началась снежная буря, до тайги дойти и думать нечего было. Пять человек остались в бараке заниматься починкой снастей и своей собственной одежды, остальных, самых рукастых, отправил в мастерскую на починку инвентаря.

Ветер был такой, что и до мастерской, которая находилась рядом, люди добирались, держась за веревку, протянутую от барака, на фасаде которого она была намертво закреплена. Но как только буря утихла, Феликс всех отправил на заготовку леса. Машу и еще одну женщину послал на легкий труд в цех. Там работали дети, старики и переселенцы, ставшие инвалидами. В основном они плели корзины или вязали сети. Трудились в небольшом помещении рядом с комендатурой, почему его прозвали цехом, никто не знал. Тут стояли печка, сооруженная из железной бочки, которую растапливали по очереди два старика, всегда приходившие для этого пораньше, лавки вдоль стен и маленькие передвижные лавочки. Сюда, приходя в цех, рассаживались легкотрудники и брались за дело. Мария пришла вместе с дочкой Роберта Ивановича Миной. Мина, гордая тем, что она умеет вязать «фитили», усадила рядом Марию, и под ее

приглядом та взялась за работу. Печь, слегка подтопленная, скоро остыла, и пальцы у Марии стали мерзнуть, почти как на рыбной ловле.

— Надо вязать быстро-быстро, тогда не замерзнешь, — сказала ей Мина. «Эта девочка такая же проворная, ловкая и приветливая к людям, как ее фатер», — подумала Мария и вспомнила о своем отце. Если бы он был здесь, с ней! Лишь бы знать, что он рядом, и ничего было бы не страшно. Ни Феликса, ни самого черта.

А Феликс как раз направлялся в цех. Шел пятый час, но еще было светло, недавно крутящийся в воздухе снег улегся, накрыл крыши построек причудливыми холмами и гребнями. Снежные наметы укрывали землю. Хвойные деревья стояли в белых россыпях, хлопьях и комках снега. Снег источал в вечеряющий воздух свет, не давая наступить ранней темноте. Мороз был небольшой, градусов двадцать, идти было хорошо. Феликс, войдя в цех, подошел к Марии, тихо, но начальственно сказал:

— Зайди на склад. Через часок.

Голубые островки ее глаз испуганно колыхнулись, словно от ветра.

— По делу, по делу, — строго добавил Феликс и торопливо вышел. Ему еще надо было принять отчет у старшего нарядчика бригады лесорубов Роберта Ивановича. Он собирался сделать это в комендатуре, куда Роберт Иваныч зайдет, чтобы сообщить, сколько кубов леса нарезали сегодня. Дожидаясь его, Феликс успеет выпить чая у Сиухина.

Через час Феликс был на складе. Он увидел Машу в окошко склада, отдернув для этого занавеску, и удивился. Какая она постройневшая! А он и не замечал, видя ее на работе. Бушлат сидел теперь совсем свободно, но ладно, прямо по росту, солдатская шапка с опущенными ушами удивительно шла ей, подчеркивая девичью нежность лица.

«Вон как я ее приодел!» — похвалил сам себя Феликс. Усмехнулся. Задернул занавеску и пошел, распахнул дверь. Она не то чтобы сразу вошла, а словно приказала своему телу войти, втокнула себя в комнату. Голова ее была опущена, и глаза смотрели в пол. Феликс заметил это, опять торопливо подтвердил:

— По делу, по делу вызвал. Проходи.

Мария сделала несколько шагов, подняла глаза. Куча шмотья по-прежнему лежала в углу, кастрюля и чайник стояли на обмазанной глиной небеленой печурке. Занавески на окошках, точно такие, как в комендатуре, задернуты, впереди, у самого простенка, неприбранный стол, лампа на нем. Она старалась не замечать, не видеть кровати.

Феликс вынул из кармана письмо, сложенный листок без конверта, расправил.

— Это тебе письмо. От отца.

Феликс заметил, как она подалась вперед, как вскинулись ее (это даже в бушлате было видно) нежно очерченные плечи.

Он протянул ей листок.

Она взяла письмо. Мгновение удивленно держала его, потом начала читать и уже не отрывалась от листка. Прочитав, взглянула на Феликса, все это время снисходительно стоявшего перед ней, и снова уткнулась в письмо.

— Ну, — сказал Феликс, — небось наизусть заучила?

Она подняла лицо, радостное, можно сказать счастливое.

— Это отца!

Чудная! Как будто он не знал. Сам ведь ей сказал, что от отца.

— Спасибо!

И, прикрыв голубые свои островки веками, заплакала.

— Вот только сырость мне на складе не разводи.

Феликс совсем близко подошел к ней, потянул письмо из ее пальцев и, когда оно оказалось в его руках, кинул на лавку, но оно не долетело до места, а упало рядом на

пол. Повел ее за руку в глубь комнаты. Сбросил с нее ушанку, расстегнул бушлат и, проникая руками под него, обнял за талию. Полные, всегда красные губы Феликса сложились в трубочку, потянулись к ней, он словно пил, сосал из нее ее радость и счастье. Потом взял за руку и повел к постели. И снова стал целовать ее. Она зажмурилась, прижалась к нему и благодарно обняла. Он опять что-то шептал, но так тихо, словно бы сам себе, она слышала только, как он назвал ее Маша. Так звала ее мачеха, мама Таня, русская женщина, на которой женился отец через несколько лет после смерти ее родной мутти, мамочки. Отец настоял, чтобы мама Таня не ехала с ним как переселенка, она русская, и ее этот закон о депортации не касается. Она должна остаться ради младших детей — семилетнего Георга и пятилетней Аннет. И мама Таня согласилась с ним. Мария видела перед собой строчки письма отца, и в порыве благодарности продолжала обнимать плечи Феликса, и гладила их, когда он на несколько секунд замер на ней, отяжелел и стал неподвижен.

В этот раз Феликс остался лежать в кровати. Он вдруг уснул, лежал, отвернувшись к стене. Мария, одевшись, в тусклом свете нашарила листок на полу, жалко, одиноко лежавший у лавки листок, и трепетно вышла. Шла в барак, пальцами неотрывно держа за уголок письма, лежащего в кармане. Она словно бы и не помнила, от кого и как письмо попало к ней. Весь ум, вся душа ее были заняты только одним: отец, ее папочка, жив, война кончится, и они встретятся и вместе поедут домой. Почему он ни словом не упомянул о маме Тане и о детях? Боится или ничего не знает о них? Как там мама Таня? Докрасила ли она наличники и ставни, отец ведь не успел. 28 августа 1941 года, она запомнила это число, Мария в тот день собирала дыни на небольшой бахче, через дорогу от дома. Запах дынь, гладких, ярко-желтых, и другого сорта: шершавых, почти коричневых, с тех дней остался с ней. Он перебивал запах рыбы во время работы, илесто-травяную вонь кишок больших рыб, когда она их потрошила и чистила, или концентрированный запах рыбного варева в бараке. Свет и запах дынь, словно божественный, рассеивал мрак одиночества, когда вокруг люди, люди, полон барак людей, а ты все равно один и ночью, и днем, потому нет рядом твоей семьи. В тот день на бахчах она собирала дыни и складывала их горкой. Не дождавшись отца, который должен был перенести их и сложить для хранения в ларь под пшеницу, она побежала домой. Она увидела отца во дворе, стоявшего на стремянке перед окном еще не достроенного дома, в который семья в это лето переехала. Отец спешил хоть что-то еще доделать, он ждал, что его со дня на день призовут на войну. Он как раз красил наличники и ставни окон в бирюзовый цвет, августовский свет делал его особенным: радужным, воздушным. А рядом стояла мама Таня и читала ему газету. Это был указ от 28 августа 1941 года о выселении российских немцев из их Немецкой Республики Поволжья. Через неделю они с отцом уехали.

Глава четвертая

Подледный лов начался лишь в середине января. Из тех, кто работал на зимнем лове в прошлую зиму с Феликсом, в бригаде оставалось двенадцать человек, и это хорошо. Эти уже знают дело, а остальные, кого он возьмет в бригаду, на ходу подучатся, если жить хотят. Он добавил еще двенадцать человек. Нет, тринадцать. Девчоночку взял, чтобы на виду была, будет работать с Веркой на пару, та опытная подледница. Снова, как осенью, Феликс собрал бригаду. Теперь на нем была добротная телогрейка из прочной непродуваемой ткани с меховым воротом и капюшоном, надежным поверх шапки-ушанки. У одного охотника на соль выменял. Спецпереселенцы были обряжены пестро, причудливо и убого. Феликс так и не получил спецодежды для

зимнего лова. Кое-что выдал со склада новичкам, но теплого имелось немного. Речь перед подледниками сказал короткую, но действенную.

— Условия те же. Перевыполните план — излишки ваши, и прибавка дневной нормы хлеба будет. За работу!

Непростое это дело — подледный лов, и не сразу пошло оно. Но народ этот, чему про себя все время удивлялся Феликс, был дюже смекалистый и старательный. Потихоньку наладилось. Сначала ловили рыбу на Излучине, так называлось место, где Енисей делал поворот, образуя широкий залив. Прошло два с половиной месяца лова с перерывами на снежные бури и морозы выше пятидесяти градусов. В середине марта Феликс решил перейти на Большое озеро за поселком. Март — зимний и лютый месяц в этих широтах. Сегодняшнее утро стояло все в пару, в загустевающем тумане, как в молочном киселе. Феликс знал, чувствовал без градусника, что перевалило за пятьдесят градусов. А выходить на лов надо. Стране нужна рыба. Энкавэдэшник Антипов, приехавший с контролем в начале подледного лова, привез с собой хмыря какого-то по имени Поликарп, якобы опытного бригадира из Астрахани, но Феликс сразу вычислил, никакой он не подледник, пшени сроду не видел. Феликс вел себя осторожно, так, по крайней мере, ему казалось, даже пьянствовать у коменданта перестал, покупал бутылку, пил на складе в одиночку — и в койку. Антипов уехал, а Поликарп еще две недели глаза мозолил, потом свалил. Что он увидел, что там о бригадире Феликсе Горбатко доложит, гадай. Да и Сиухин стал каким-то подозрительным, вчера выпил лишнего, голову свесил и запричитал, как баба.

— Ух, Феликс, железный мой Феликс, — и слеза выкатилась из круглого, как у филина, прозрачного глаза.

— Че ты ухаешь, как филин? — грубил ему нетрезвый Феликс. — Че ты меня железным зовешь?

— Как Феликса Эдмундовича.

Совсем одурел комендант. А то сидит, шкура энкавэдэшная, молчит, череп в задумчивости чешет. А то посматривает так, будто что-то тайное о Феликсе знает.

В это белое от пара и тумана морозное утро Феликс широким своим шагом спешил на озеро, куда Роберт Иванович уже привел бригаду, и работа началась. Подледный лов — это совсем не та зимняя рыбалка удочкой, когда рыбак в тулупе уютно сидит перед лункой и ждет-пождет удачи, согреваясь самогоном. Чтобы запустить под лед двухсотметровый невод, нужно продолбить два ряда лунок штук по пятьдесят в каждый ряд. Невод продевают через лунки с помощью веревки и жерди. Это похоже на то, как продевают шнуровую резинку в юбке или штанах с помощью булавки. Проходя подо льдом на глубине, мотня невода захватывает рыбу. Оба крыла невода доводят до широкой скважины, выдолбленной в конце, разборной майны и через нее вынимают невод. Все замирают в ожидании. Поймалось? Не поймалось? И если в мотне не окажется ни рыбки или совсем чуток, весь труд пошел насмарку. Марии казалось, что самое тяжелое в этой работе — долбить лунки. Она стояла рядом со своей подругой Верой Шихт в ряду с другими «луночниками», которые долбили лед, клевали лопатами-пешнями, пытались пробить и расчистить двухметровую толщу льда. По мере расширения и заглубления ямы луночник спускается туда все ниже — по колено, по пояс, по грудь и, наконец, с головой, и тут уже остается немного, чтобы лунка была готова. Мария осторожно малыми глотками вдыхала ртом воздух: резкий, неприятно пахнущий, бескислородный. Воздух делается таким от сильного понижения температуры. Это Вера посоветовала дышать ртом, но поверхностно, неглубоко. Если мороз больше пятидесяти градусов и будешь дышать через нос, его сразу забьет льдом, начнется неостановимый, разрывающий горло кашель. Вера работала рядом с Марией, дальше — две женщины в одинаковых, кроенных из старого одеялка тужурках. Феликс

взял их в бригаду из другого поселка, за ними Лиза Грас и Яша, он стоял около матери, опершись на черенок широкой лопаты, опустив голову. Передыхает. Яша в эту зиму научился ставить петли на зайцев и выделывать шкурки, так что они с матерью были в одинаковых заячьих шапках-малахаях и в накинутых поверх осенних пальто заячьих безрукавках.

Фоновый шум работы — удары лома, треск, звон, стук льда, шебуршание лопат и бой пешней среди ледяной немой пустыни — был оглушительно ухающим и безжизненным. Таким делало его отсутствие людских голосов. Людское молчание. Будто изо дня в день ловя рыбу, они сами стали рыбообразными, молча плыли в ледяной воде мартовского дня. Обессиленно возвращались в барак и там почти не разговаривали. Скучно ели, раскладывали, развешивали погреть и просушиться вещи и обувь. Кто-то кормил или укладывал ребенка, кто-то наскоро чинил не ко времени расползшуюся одежду.

Мария только что пробила во льду обширную канавку и теперь пропешивала ее. Подошел Феликс, остановился рядом. И она замерла, перестала работать. Взял пешню из ее рук. С яростью, сильно, ритмично ударял, крушил лед, вырывал, отваливал большие его куски, мелкие осколки вихрем взлетали вверх, звенели, ударяясь друг о друга. Канавка на глазах превращалась в полноценную лунку. Вернул ей инструмент, не глядя, почти не шевеля губами, тихо сказал.

— Зайдешь сегодня, как лов окончим.

И быстро пошел от нее.

Она видела, что он направился к Роберту Иванычу. Роберт Иваныч и с ним трое женщин из новых суетились у закладной майны. Феликс что-то сказал своему нарядчику и пошел в сторону поселка. В это время Вера вылезла из своей ямины, кинула пешню, стряхнула снег и застрявшие в одежде, как стеклышки, мелкие осколки льда. Выпрямившись, разящим взглядом проводила Феликса. Взглянула на Марию и решительно сказала:

— Как шука ни остра, а не возьмет ерша с хвоста. Так я, Морея, думаю.

Мария не поняла толком, к чему Вера сказала эту рыбью поговорку, но улыбнулась. Луночники все в том же молчании долбили каждый свою лунку. До слуха Веры, уже минуту задумчиво стоявшей около Марии, донесся плач. Тонко вскрикивающий голос казался совсем детским. Он доносился со стороны разборной майны.

— Моря, слышишь?

Мария остановила работу, прислушалась, повернувшись к разборной майне. Сказала:

— Ирма плачет.

— Наглодается холоду, сляжет и уже не встанет.

Вера подхватила пешню и быстро направилась туда. Мария, как за веревочку связанная, двинулась за ней. На разборной майне трудились трое женщин, Мария знала, что младшей, Ирме Лист, тоненькой, хрупкого сложения, было, как и ей, шестнадцать лет. Видно, совсем замерзла, выбилась из сил и с отчаяния зарыдала. Одна из женщин, это была мать Ирма, обхватила ее, прижала к себе и, вся трясаясь, что-то неразборчиво выкрикивая, подвывала. Третья их напарница стояла, застыв у майны с пешней в руках, как статуя, готовый памятник рыбачке подледного лова. Вера вклинилась между матерью и дочерью, разняв их, и крикнула:

— А ну закройте рты. Ирма, слышишь? Легкие застудишь, вот тогда мамка твоя поплачет. Идите на наши лунки, подчистите там.

И, вспомнив, что все три женщины почти не понимают по-русски, повторила это же по-немецки.

— Darf ich bitte mit? (Можно я тоже с ними?) — шевельнувшись наконец, спросила третья.

— Los (Шагай), — ответила Вера.

Женщины медленно, неуклюже, как старые каторжане в кандалах, побрели к лункам. Мария с Верой оглядели полынью для разборной майны.

— Надо поторапливаться, — сказала Вера. — Моря, я буду расширять с боков, а ты заглубляй.

Мария спрыгнула в яму. Примерившись, взялась за работу и все вспоминала, как яростно крушил лед Феликс и как тихо говорил с ней потом. Она долбила лед под ногами, а он окружал, нависал на нее со всех сторон. Ничего вокруг, она только чувствовала, что Вера работает где-то неподалеку. Майна ширилась, углублялась и подпускала воду. Надо выходить. Вера наверху подчищала сколотый лед. Мария ошкурила, отгладила неровные бока майны, вылезла из ямы на снежную кайму, сделала шаг вперед и ахнула: на снегу остались расплывчатые отпечатки голых ступней. Боты слетели с ног! Вместе с обмотками свалились в яму. Ее сокровище. Боты, которые она получила от Феликса вместе с одеждой, были ей большими, и это оказалось хорошо. Как только начались морозы, она заворачивала ступни в теплые обмотки, выкроенные из шерстяного шарфа, и надевала боты. Как она могла не заметить, что обмотки размотались и обувь слетела с ног? Она совсем уже ничего не чувствует, что ли? Мария собралась возвратиться в яму, но какое-то остолевание, полусон вдруг нашли на нее. Впереди, где только что было ледяное поле, ей мерещились улица, дома, и среди них новый, красивый, с бирюзовыми наличниками. И она пошла медленным тяжелым шагом туда, но вдруг вспомнила: а боты? Поспешно вернулась, спустилась в ледяную яму, вот они, вот они! Отодрала прилипшие к мокрому льду подошвы, надела боты на голые ноги и стала выбираться из ямы, но вдруг вся обмякла и, как большая тряпичная кукла, свалилась, сползла вниз.

Все звуки стихли. Мария перестала что-нибудь чувствовать.

Вера, думая, что она просто свалилась в яму, наклонилась.

— Давай помогу!

Протянула руки, потянула ее за ворот бушлата. Иногда они помогали так друг другу выбраться из ям. Но Мария не шевелилась, не пыталась встать.

— Моря, ты что?

Мария не отвечала.

Вера встревожилась. Что-то не так. Выпрямилась, повернулась в сторону закладной майны, ища глазами Роберта Ивановича. Закричала, соорудив рупор из рук.

— Роберт, сюда! Комм хир!

И внезапно увидела в нескольких шагах от себя, словно из тумана разреженного воздуха вылетевшего Феликса. Дух исподний, как он здесь оказался? Уходил же...

Феликс шагнул к яме и увидел Машу, полулежашую в ней, словно в ледяном гробу. Неподвижное, белое, как гипс, лицо испугало бригадира. Он с силой подхватил ее под руки, стал поднимать и скоро вытащил на лед. Попытался поставить ее, но тут же подхватил, тело повисло, ноги не держали ее. Злополучные боты со стуком упали на лед. Феликс приподнял, положил Машу себе на руки. Вера сняла шерстяной платок, под которым был у нее еще один, поменьше, обвязала ноги Марии, затянув концы на узел.

Подбежал Роберт Иванович.

— Тефки, что такое?

— Роберт! — кинулась к нему Вера, потому что не хотела говорить с Феликсом. — В больницу ее надо, к Измаилу Осиповичу.

— От мороза повело. В тепло надо, — сказал Феликс.

Вера следила со своим волнением, твердо и спокойно сказала:

— Я тоже так думала. Роберт Иванович, она всю неделю на ноги жаловалась. А теперь сознание потеряла. В больницу надо.

— Какая пальница? Кто восьмет? Мы кто такие? Шпион, истребитель!

Роберт Иванович в сердцах плюнул, плевков тонкой ледяной завитушкой упал ему на шинель. Это была солдатская шинель, попавшая к Феликсу на склад вместе с другим случайным барахлом. Чуть выше ремня, которым тощая высокая фигура Роберта Ивановича была стройно подпоясана, виднелись две заштопанных дырки от пули.

— Должны взять. Я побегу к Сиухину, — сказала Вера и, резко повернувшись, пошла от них.

— А ну вернись! Я сам договорюсь, — строго остановил ее Феликс. — Производственная травма, обязаны взять.

Он сейчас чувствовал себя не шибко ловко перед бригадой. С бабой на руках! Сердито крикнул луночникам:

— Работайте!

Повернулся и чуть не бегом направился со своей ношей по тропе к поселку.

Больница находилась от озера примерно в двадцати минутах ходьбы. Он нес Марию, неловко обхватив, прижимая к себе, словно слишком длинную охапку хвороста. На стоящей больницы в поселке не было, так называли здесь медпункт, который образовался недавно, а фельдшером состоял врач из ленинградских ссыльных Измаил Осипович Алимов. Спецпереселенцы называли его Осыпыч, сильно смещая ударение на первый слог. Медпункт состоял из двух кабинетов, кабинет врача, он служил одновременно и спальней, и процедурным кабинетом, где в основном производился прием амбулаторных больных. Из двух лишних комнат Измаил Осипович устроил больничные палаты. По договоренности с начальством. Оснащен медпункт был слабо, и, скорее, случайными вещами, как, например, весами. Перевязки и другие процедуры амбулаторным больным доктор производил в процедурном кабинете, а лежащим — прямо в палате.

Феликс, достигнув медпункта, взошел на крылечко о двух ступенях, пнул ногой дверь. Николай, санитар и сторож медпункта в одном лице, молчаливо стоял в дверях.

— Где Осыпыч?

Ответа не последовало.

Тараща глаза, Феликс прошел со своей ношей мимо, соображая, в какую сторону ему двинуться дальше.

Как-то он был тут у доктора, по щекотливому и неприятному, как он предполагал, случаю, но тогда все обошлось.

Измаил Осипович, немолодой, чрезвычайно носатый, в высоком колпаке и белом халате-крылатке на завязках, бесшумно появился перед Феликсом. Пронизал взглядом безвольно лежащее на руках Феликса тело. Пациент явно без сознания и очень плох.

— Несите вашу ношу сюда.

Быстрыми шагами — на ногах у доктора были мягкие чуни из камыса⁵ — он прошел в самый угол коридорчика и распахнул дверь в палату.

— Кладите на вторую койку!

Феликс посмотрел на первую. На ней лежал на спине и похрапывал до полусмерти избитый человек, вместо лица — пухлое лиловое, синее, багровое месиво. Серая простынь по самую шею прикрывала его. Кое-где на ней чернели очажки засохшей крови. Феликс притормозил.

— Кто у тебя тут, Осыпыч?

— Это Зэк Эзович, — язвительно позвякивая буквой «з», ответил доктор. — Утверждают, что он лучший охотник на соболей, песцов, шиншил, рысей... и львов, и носо-

⁵ Камыс (сиб.) — шкура с оленьих ног, идет на обувь и рукавицы.

рогов, наверное. С другого берега доставили. Из тайги, с Волчка привезли. — Волчок был старым охотничьим поселком с большим пунктом сдачи пушнины.

Феликс еще раз глянул на обвязанную бинтом в виде чепца голову Зэка Зэковича, на разноцветное месиво на бывшем лице. Безжалостно подумал: шестера чья-то, вот и получил. Спросил:

— А что у него, Осыпыч?

— Рваная рана пасти и колотая рана моргал! — тихо, задушевно сказал диагноз доктор. — Приказано воскресить. Нужный человек, говорят.

— Это ж мужик. А у нас женщина. Куда в одну палату?

Бушлат, ватные штаны на долговязой худой фигуре Марии и солдатская шапка, нахлобученная по самые брови, очевидно, сбили фельдшера с толку.

— Дама? Тогда сюда!

Измаил Осипович направил свои бесшумные чуни из палаты в противоположную сторону, там, за двумя кабинетами. его личным и процедурным, в углу, находилась вторая, свободная палата. Взволнованный, злой, упаренный Феликс внес Марию. Узкая комната с маленьким зарешеченным окошком. Накрытая серым суконным одеялом железная койка и самодельная тумбочка рядом.

«Одиночная камера. Параша только не хватает», — подумал Феликс.

— Складывайте вашу ношу. Совсем вы упрели! — приказал Измаил Осипович.

Феликс осторожно положил Марию поверх одеяла, снял с нее шапку. Кроме темных, сведенных в одну ломаную линию бровей над прикрытыми веками, все на этом лице было одинаково белым, даже кайма губ.

— Так что случилось с дамой? — спросил доктор, подходя и склоняясь над ней.

— Отморозилась начисто! Вот. — Феликс наклонился над Марией, но доктор, отстраняя его, чутко толкнул в бок:

— Я сам. Как даму зовут?

— Маша, — сказал Феликс и тут же поправился: — Мария Варум.

Измаил Осипович кивнул и склонился над ней.

— Мари, слышите меня? Херен зи мих?

— Слышу, — проговорила Мария медленным шепотом.

От тепла она очнулась, но слабо улавливала сознанием происходящее. Одна только боль в левой стопе, рвущая, сжигающая, соединяла ее с жизнью.

— Откройте глаза. Что болит? Где болит? — громко спрашивал Измаил Осипович.

Мария попыталась открыть глаза, но веки будто смерзлись, сковались, и у нее не получалось разнять их.

— Стопу, как пешней... до кости клюет, — медленно, с перерывами на отдых ответила она. — Левую.

Измаил Осипович размотал с ног платок, словно черный бинт. Сдернул прилипший к ранам нижний слой, она вскрикнула, застонала.

— Надо потерпеть.

Доктор закрутил конец широкой штанины. Феликс, стоявший рядом, сморщился. Нижняя часть левой голени была распухшей, блестяще багровой, а стопа отекая, злое-синеватая, и по ней шли темные кровянистые пузыри.

— Что диагностируешь, Осыпыч? — спросил бригадир.

— Диагностирую? На ощупь больной оказался ростом сто семьдесят восемь сантиметров и девушкой. Так и запишем.

— Ты тут не сильно руки распускай, — Феликс озверело глянул на доктора. — Мне отвечать будешь!

Измаил Осипович выпрямился, живо повернулся к нему.

— Что вы, товарищ бригадир! Я только по крайней необходимости.

Он внимательно с некоторым удивлением глянул на Феликса.

— А теперь попрошу вас выйти из палаты.

Голос доктора был вежливым, но не допускал возражений.

Феликс, всей спиной показывая недовольство, вышел, но дверь оставил приоткрытой.

Измаил Осипович снова склонился к больному, оказавшемуся сто семьдесят восемь сантиметров ростом и девушкой. Он приподнял теперь правую штанину и увидел, что и эта нога весьма повреждена.

— А что ж вы на правую не жалуетесь? Мари?

Мария не отвечала.

— Тут что чувствуете?

Измаил Осипович пальцами нажал на стопу чуть выше пальцев.

— Тут ниче не чую. Ровно нет ничего.

Измаил Осипович пальпировал ногу.

— А тут? Вот в этом месте?

— А тут огнем горит... а сама холодею... умираю, что ли?

— Потерпите, и я вам помогу.

Она ничего не ответила, глаза по-прежнему были закрыты.

Измаил Осипович пальпировал ногу. Случай был редкий, особый, но ему знакомый.

Измаил Осипович торопливо вышел из палаты.

— Ники! Николай Ильич! — громко позвал он.

Феликс, стоявший у двери, приступил к нему.

— Ну что, Осыпыч?

— Видите ли, товарищ бригадир. Это не совсем отморожение. У дамы «траншейная стопа»⁶.

Говоря это, он мелкими учтивыми шажками обошел Феликса и торопливо направился к процедурному кабинету. Феликс шел за ним.

— Не слышал по такую. Чем грозит?

— Гангреней. Ампутацией, смертью. Все может быть. — отвечал Измаил Осипович.

— Чего это? Мало ли отмораживаются.

Доктор остановился, повернулся к нему. Феликс смотрел недоверчиво, с изумлением.

— У больной на конечностях есть застарелые язвы, не сегодняшнего дня.

— Да как же? Откуда?

— В ледяной сырости и неподвижности ноги подолгу держала, вот и нажила язвы. Чем-то она их сама лечила. На правой голени достаточно глубокий некроз тканей. Кровоснабжения нема. Температура тела низкая. Дыхание слабое. Прерывистое. Нет его почти. Опасаюсь заражения крови. Мешкать некогда.

Измаил Осипович заметил, как основательно напугал Феликса.

— Но имеются кое-какие средства для лечения и мой опыт на фронтах Первой мировой. Сейчас же и начнем. Я иду в процедурный кабинет за всем необходимым. Да, — вспомнил доктор, — бесценные ватные штаны Марии Варум придется разрезать.

— Спишем, — махнул рукой Феликс.

Ошарашенный страшным диагнозом, он вдруг растерял свою суровость и жесткость. Шел сзади, тянулся, как теленок, за доктором.

Доктор остановился у двери процедурного кабинета.

⁶ Траншейная стопа — отморожение нижних конечностей, возникает при длительном непрерывном охлаждении и влажности, например у солдат в окопах при долгом нахождении. Термин появился во время Первой мировой войны.

— Покиньте медсанчасть, товарищ бригадир. Пожалуйста. Сейчас неприемные часы. А за нами тут хорошо наблюдают.

— Может, чего надо, а Осыпыч?

— Панты. Добудьте мне панты. Остальное беру на себя.

— Будут тебе панты.

Феликс пошел к выходу. Натолкнулся на стоявшую у стены каталку. Она всхлипнула колесами и покатила вдоль стены. Выругавшись, Феликс вернул ее на место.

— Эта катафалка тут зачем?

— С Туруханска любезно доставили. Ивентарь, — ответил ему ироничный, чуть картавый голос. Это Николай Ильич вошел в тамбур с охапкой дров. Николай Ильич — единственный человек, кроме доктора, работавший в медпункте, был не только санитаром, но истопником, сторожем, уборщиком.

— Ники! Николай Ильич! — позвал его Измаил Осипович. — Скорее! Вы мне нужны.

Николай Ильич сбросил охапку в угол тамбура и, снимая на ходу ватник, пошел на зов.

— Обрабатывайте руки и пойдемте, у нас траншейная стопа. — услышал Феликс.

Он вышел на улицу. Глубоко вдохнул ледяной, деручий, как зазубренное железо, воздух и зашагал к озеру.

— Вот тебе и на! Промешкал с валенками!

Он сокрушенно выругался.

Дело в том, что у Феликса на складе была припасена отличная пара новых валенок с галошами. Лежали уже вторую неделю. Он хотел их выдать сегодня Маше на складе, вроде как подарить. В особой обстановке, так сказать. В валенках-то ноге рай.

Глава пятая

Измаил Осипович спасал «траншейную стопу» Марии и всю ее, отравленную ядовитыми продуктами распада некротических тканей. Эта девушка более всего покорила его своим терпением. Она была теперь в полной памяти, терпела боль и тяжелейшее состояние отравления, мучительный озноб, болезненные процедуры, понимала, что умирает, и не выказывала своих чувств. Она горела. Температура из низкой скакнула до сорока, и это был уже совсем плохой сигнал. У доктора были свои наработки и методы лечения, но маловато лекарственных средств, вот что плохо. Глядя пристально в пустой воздух, в никуда, Мария глотала порошки, принимала уколы, не дрогнув, словно не чувствуя иглы, но только дело не шло. Через несколько дней Феликс принес панты и свежую кровь оленя, пусть выпьет. Измаил Осипович дары принял, но к Марии в палату не пустил.

— Как она? — спросил Феликс.

— Пока мало сдвигов.

— Дай зайду.

— Нельзя, товарищ бригадир. Посещения не желательны из-за инфекции. Занесем — капут фройлин Мари будет.

— Не занесу я ничего.

— Да зачем вам ее видеть?

Доктор с удивлением смотрел на Феликса.

— На ноги-то встанет?

— Делаю все возможное в тяжелых военных условиях.

— Ну смотри, Осыпыч, — сказал Феликс, обозленный несговорчивостью доктора.

Измаил Осипович учтиво проводил бригадира до самого выхода.

* * *

— Мария, у нас новое лекарство, и я думаю, оно вам поможет.

Доктор вошел в палату, ступая торжественно и медленно, что было совершенно для него необычно. В руке он нес склянку с оленьей кровью, которая на фоне белого халата казалась особенно яркой, багровой.

— И я сам его вам дам.

Мария, исхудавшая, с бескровным лицом, напрягла все силы и чуть приподнялась на постели, доктор сразу же это отметил. Мария стыдилась того, что кто-то ухаживает за ней, приподнимает, подает еду и лекарство. Она молча смотрела на склянку с кровью. Она была одета в старый полосатый татарский халат, который выдал ей Николай Ильич за неимением другой женской одежды. Бог знает откуда он тут оказался. Прежняя хозяйка для тепла халат простегала паклей, теперь ткань в нескольких местах протерлась, так что эта самая пакля из него торчала. Но как правильно говорила Вера, какую бушлатку на юную девушку ни надень, она все молода и хороша. От жара голубые глаза на бесплотном белом лице Марии сияли, как живая синева неба среди белых облаков. Две светлые косы ее расплелись, и густые волосы нахлынувшими волнами укрыли плечи и грудь, потому что заколоть их было нечем, заколки ее потерялись.

— Вполне дамский напиток, — сказал Измаил Осипович, подавая ей сосуд с кровью, — бригадир ваш принес.

Картина была странной и забавной, если бы кто-нибудь мог наблюдать ее. Мария, полусидя на кровати, протягивала подрагивающие руки к доктору, а тот подавал ей сосуд с кровью.

— Пейте, Почемуча. В ней ваша жизнь.

— Почему вы меня так называете? — спросила Мария.

— По фамилии, — озорно улыбаясь, сказал доктор. — Насколько я помню, немецкое «варум» означает «почему». Да и смотрите вы так, словно все время спрашиваете: Почему? Почему? Вот вы и Почемуча.

Марии было тошно от резкого запаха оленьей крови, но она зажала нос и выпила ее всю без остатка. Измаил Осипович даже чуток подпрыгнул на своих чунях.

— Да вы образцовый кровопийца, Мария Варум. Но это еще не все на сегодняшний день. Позднее Николай Ильич вам панты предложит.

И забрав склянку, он уже обычным своим скорым шагом удалился из палаты.

Измаил Осипович, говоря о пантах, имел в виду не сами свежесрезанные рога северного оленя. Еще не подошел сезон их добычи. Доктор говорил о готовом снадобье, приготовленном из целебного их содержимого. Мария слышала о пантах. Яша-гармонист мечтал добыть их, собираясь охотиться на северного оленя. Он говорил, что панты — это такое же волшебное средство, как женьшень, лечит от всех болезней. Яша сказал, что здесь, на севере, панты консервируют для хранения вымораживанием. Санитар Николай Ильич принесет ей сегодня это волшебное снадобье, и она начнет поправляться! Мария поначалу удивлялась, что Измаил Осипович, доктор и, значит, начальник санитара, обращается к нему на «вы», а иногда называет его Ники. Николай Ильич был неправдоподобно высоким. Лицом в очках и бородке он походил на портреты ученых или писателей, какие Мария видела в своих школьных учебниках. Николай Ильич держал свой тонкий торс очень прямо, и когда входил в палату, Марии казалось, что он покачивается где-то вверху, как ствол мачтовой сосны. Принося лекарства, санитар осторожно, словно опасаясь переломиться, с насмешливой улыбкой склонялся к ней и распевно произносил:

— Примите и вкусите.

Мария принимала и вкушала. Санитар молча забирал пустую склянку, осторожно выпрямлялся и уходил.

И вот сегодня в двенадцать часов — время, в которое Николай Иванович всегда давал лекарство, он принес снадобье. Мария полулежала, упрятавшись в одеяло, ее опять мучил озноб. Санитар поздоровался, шагнул вперед и сразу оказался у кровати. Склонившись, протянул мензурку с жидкостью кровавистого цвета. Сухие брусочки пант были истолчены в порошок, разведены водой из талого льда и хорошо настояны.

— Примите и вкусите.

— Панты, — тихо сказала Мария, с усилием приподнимаясь, беря мензурку.

— Панты, сударыня. Волшебный препарат природы. Понимаете, о чем я?

— Да.

— Вы подумайте только! — Глаза Николая Ильича за стеклянными окошками очков вдохновенно блеснули. — Ведь что есть рога оленя? Орган, который всякий раз заново отрастает и восстанавливается. При этом с невероятной скоростью растет все: кожа, ткань, хрящ, кость, кровеносные сосуды. И нервы! Понимаете, о чем я?

— Я...

— Примите, примите. — порывисто сказал Николай Ильич, видя, что Мария, как зачарованная, держит мензурку с «волшебным препаратом природы».

Она решительно махнула это кровавистое, не понять какого вкуса, солоновато-кисловатое с железистым привкусом снадобье.

— О, молодцом, — похвалил Николай Ильич и продолжал: — Быстрый процесс роста требует огромной силы и высокой концентрации веществ, регулирующих такой процесс. Понимаете, о чем я?

Мария понимала. Не каждое слово, но общую мысль улавливала: рога оленя растут шибко быстро, и от этого в них скапливается уйма силы. И еще она догадалась, что на повторяющийся вопрос Николая Ильича «Понимаете, о чем я?» совсем необязательно отвечать.

— Эта сила победит вашу болезнь. Понимаете, о чем я?

Она кивнула.

— Что ж... мне пора. Зэк Экоквич брому заждался.

Николай Иванович забрал с тумбочки пустую мензурку и шагнул за дверь.

Именно панты сдвинули дело с мертвой точки, в данном случае слово «мертвый» практически отражало истинное состояние здоровья Марии. Сила пант переходила в нее, изгоняла из организма слабость, а вместе с ней уходила опасная температура, уменьшался токсикоз.

— Рога помогли — тут и к бабке не ходи! — каждый раз на обходе говорил Измаил Осипович.

Мария едва сдерживалась, чтобы не засмеяться вслух.

— Отдыхайте. Вам нужно много спать и есть. Есть и спать. Берите пример с Зэка Эковича.

Боже, когда и от кого она в последний раз слышала такие слова? — думала Мария. Может, в седьмом классе от мамы Тани, когда заболела коклюшем. Измаил Осипович сильно напоминал ей отца, тоже любившего балагурить, внешне человека мягкого, но упрямого, непреклонного. Иногда она про себя звала доктора так, как называла отца — таде⁷. В нем, небольшого роста, легком, почти бесплотном, она чувствовала другую, особую силу, не физическую, свирепую, железную, что была в Феликсе, или тех охранниках, что сопровождали эшелон, когда везли их, спецпереселенцев, в Сибирь,

⁷ Таде (нем. диалектное) — Tahte — одно из старейших слов немецкого языка, означающее отец.

или в тех, что по долгу службы сопровождали их на пароходе и доставили сюда. Эта твердость, непреклонность в докторе была сильнее всех окриков, кулаков, угроз и оружия. Мария не знала, как определить, назвать ее словами, но чувствовала, что эта сила вливается и в нее, она становится другой.

Однажды будучи на обходе, Измаил Осипович спросил ее о семье.

— Почему вы здесь одна? Где ваша семья?

Мария коротко рассказала об отце, как его забрали в трудармию, а ее переправили сюда.

— Вы, Измаил Осипович, похожи на моего таде. Я даже называю вас так про себя, — призналась она.

— Мне приятно быть вашим отцом, — сказал Измаил Осипович. С секунду он был тих и серьезен, но потом в черных глазах блеснули смешинки:

— Tahte, Tahte, unser Netz hat 'n Touter gschleppt gebracht⁸.

— Откуда вы знаете немецкий? — спросила Мария.

— Вы, кажется, забыли, что я ваш отец, — лукаво отвечал доктор. — Так вот, Мари. Рекомендации остаются прежними: никаких печальных мыслей, есть и спать, спать и есть. Как Зэк Зэкович.

Зэка Зэковича, как выяснилось, звали Гриша, он беспробудно, сутками спал, словно случая поспать у него не было лет десять. Просыпался только, когда приносили еду. Или когда приносил ему бром Николай Ильич. Из палаты он не выходил, а на ночь санитар закрывал его на ключ.

Мария днем спала мало. Целыми днями лежала или сидела на кровати в своем узилище, как называл палату Измаил Осипыч. Палата располагалась так, что в маленькое в изморози окошко видны были лишь несколько голых стволов и снег за ними. Мысли о родном доме одолевали ее. Она вспоминала их с братом и сестричкой детскую комнату, выбеленную до сияния мамой Таней, и комнату родителей, где стояла химмельбетт⁹, взрослая кровать, высокая, с разрисованной спинкой, по медово-желтому коричневым узорам. Кровать была заправлена голубым воздушным покрывалом, из-под которого виднелся кружевной край околоти. На покрывале у изголовья словно плыли большие белые, как лебеди, пуховые подушки. Когда мама Таня делала нудель — тонкую вкусную лапшу для воскресного куриного супа, она стлала на кровать чистое льняное полотенце и сушила раскатанные до прозрачности круги желтоватого с тонкой мучной посыпкой тесто. Мама Таня очень старалась делать это тесто, резала скрученные в жгуты круги на лапшу виртуозно, тоненько-тоненько, чтобы не оплошать перед другими хозяйками. Мария вспоминала двор с вишеньем, яблонями, грушами, всю их улицу с рядом крепких опрятных домов. Утро в селе начиналось с того, что все хозяйки выходили с метлами, и каждая подметала свою часть улицы, а потом посыпала белым песком. Эта земля в белом песке так и стояла перед ее глазами, так бы нагнулась и поцеловала. Вспоминала об отце, как он прощался с мамой Таней и детьми, бодро, спокойно:

— Alles wird gut. Wir kommen wieder zurück. — Все будет хорошо. Мы вернемся.

И голос мамы Тани:

— Ничего не бойся, Маша. Бог не выдаст — свинья не съест.

Когда она недавно сказала эту пословицу Вере, та ответила: «Моря, кабы одна свинья. А то их как собак нерезаных. Ох, что-то у нас и свиньи, и собаки нерезанные!» И они долго хохотали. Отодвинула, смахнула Вера грусть этой шуткой.

Мысли о доме перебивала только боль в ногах. Теперь она была другой. Пузыри на ногах вскрылись, и раны, подсыхая, рубцуясь в шрамы, немилосердно тянули, словно

⁸ «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...» (известное стихотворение А. С. Пушкина).

⁹ Himmelbett — дословный перевод: кровать — небо, супружеская кровать.

выворачивали наизнанку и кожу, и все, что под ней, до самой кости. Хотелось выть от этой боли, да и сама боль была какая-то воющая. Но Мария терпела. Молча искала лучшего положения для стоп, ставила и перекладывала ноги так и этак, почесывала и поглаживала их. А Измаил Осипович был доволен: некроз остановлен, заживление идет. На днях после утреннего обхода, побалагуривав с ней и похвалив за терпеливость, он сказал:

— Вот что, Почемуча. Вытяните-ка правую ногу и так подержите ее на весу.

Мария, ощущая удовольствие от того, что ноги снова слушаются ее, вытянула обе и держала их на весу.

— Состояние больной улучшилось. Она самостоятельно протянула ноги. Так и запишем!

Мария залилась смехом, спохватилась и смущенно закрыла ладошкой рот, а довольный доктор отметил, что, в сущности, это смех молодого выздоравливающего человека. На третьей неделе на левой стопе появились уродливые, розовые, как свежее мясо, рубцы, Мария испугалась: так они были безобразны.

— Рубчики очень хороши! — Измаил Осипович смотрел на рубчики растроганно и нежно. — Идет дивный, отрадный процесс. Marie, du wirst wieder laufen! — добавил он по-немецки¹⁰. Измаилу Осиповичу было понятно, что пришла пора ставить пациентку на ноги, но тут начались сложности. Стоило ей попробовать встать, как левая голень, будто пластилиновая, подламывалась, а ступня подгибалась, и ей было страшно, казалось, что сейчас нога вся распадется на части, и она валилась, как куль, на кровать. Измаил Осипович недоуменно ощупывал ступню, голень и не понимал, в чем дело. Все говорило за то, что ноги он вылечил.

Глава шестая

Феликс, прознав про дивный отрадный процесс, который произошел с ногами Маши, впал в радостную озабоченность. Ему надо скорее навестить ее! И тут нагрянула проверочная комиссия во главе с Антиповым. Низкая поставка рыбы беспокоила начальство. Антипов винил Феликса: миндальничает он с предателями родины, не умеет нажать. Но что делать, если рыба плохо ловится, ведь уже и так на другое место перешли. Феликс про себя ядовито думал: на кого нажать? На рыбу, что ли? Из людей он и так все выжимал, что можно, и сами они старались. Угасив огонь в сердце и чреслах, Феликс весь день как проклятый провел на работе, а вечер скоротал наедине в своей норе. На следующее утро Антипов, в белом дубленом полушубке и форменной шапке, какие носили все энкавэдэшные начальники, с двумя сопровождавшими его шестерками построил бригаду около барака.

— Искупить вину перед родиной не хотите? — грозно орал он, не боясь застудить свою зычную глотку. — Стране нужна рыба, фронту нужна рыба! Вы это понимаете?

Очевидно, приняв молчание людей, измотанных нескончаемой зимой и проклятым подледным ловом за признание вины, Антипов обратился к Феликсу:

— А с тобой у меня будет отдельный разговор.

И пошел со своими прихлебателями в тепло к Сиухину.

— Что стоите? К земле пристыли? Пошли! — раздраженно заорал Феликс, оставшись в одиночестве перед понуро стоявшей бригадой. — Будем ловить, пока не выполним план, хоть сутки напролет.

Началась работа. Люди быстро распределились по местам, взялись пробивать и счищать затянувшиеся льдом майны и лунки. Феликс ходил от одного к другому злой и решительный. Подошел к Яше, медленно ударявшему ломом по замерзшей скважине.

¹⁰ Ты снова будешь бегать.

— Шевелись, чего лом едва держишь? Это тебе не петли на зайцев ставить. Будешь саботажничать, я тебе такое устрою, сам в петлю полезешь!

«По закону я могу уйти с бригадирства, я могу уехать отсюда», — про себя думал Феликс и сам себе отвечал: «Ага, можешь. Тайга тебе закон и энкавэдэшник с дулом в спину». — «К сестре в Омск уеду!» И с горечью отвечал: «Ага, уедешь, вот только что-то не очень зовет она». Мысли бригадира бегали, как испуганные мыши, и нигде не находили выхода, доброй лазейки из опасного места. Но лов в этот день оказался удачным, и он немного успокоился. Люди облегченно вздыхали. Начинался ветер, буран, кто знает, что стало бы с ними, Феликс слово крепко держит, продержал бы сутки. Рыбаки обрадованно перекинули леденеющий на лету улов в тару.

— Услышала рыба наши молитвы! — радостно сказал Роберт Иванович бригадиру.

— Кто же вас, кроме рыбы, услышит? Заканчивайте тут. Переносите улов и в барак пошли!

Рыбу до приезда обозов хранили в естественных холодильниках, в мерзлых грунтах, специально для того выдолбленных.

Феликс напрямик направился в комендатуру доложить Антипову об улове. Два дня Антипов с опухшей мордой, но бодрый и злой являлся со своими сморчками на Большое озеро, орал и угрожал, что всех сошлет под самый Ледовитый океан за срыв плана, и оба дня рыба шла, улов был выше плана. Антипов призвал Феликса в кабинет Сиухина:

— Подледного лова пара недель осталась. Дело к весне, Поликарпа пришлю на бригадирство. Тебя на засолпункт бросим. Здесь, в поселке, свой построим. Рыбой тебе руководить, а не людьми.

Злобно, презрительно выговорил ему все это Антипов и с тем уехал. А Феликс немедленно собрался в медпункт, повидаться с Машей. Понимая, что с Измаилом Осиповичем каши не сварить, а долговязая псина сторожевая Николай Ильич ни за что его не пропустит, Феликс решил украдкой проникнуть в медпункт в тот момент, когда Николай Ильич пойдет в раздаточную, где получал он хлебные пайки и еду. Происходило это в час дня. Дождавшись этого времени, Феликс устремился к месту своего вождения. Он даже расстегнул телогрейку, такой жар охватывал при мысли, что скоро будет с Машей, и сбросил капюшон. Сквозь волчью его шевелюру чуть проникали холодные воздушные струи, приятно освежавшие голову. Под мышкой он нес бумажный мешок с подарком для Маши.

* * *

Мария изо всех сил пыталась встать на ноги. Она свесила ноги с кровати на пол, попробовала встать на ступни и тут же сваливалась на постель. Надо пересилить себя и удержаться. Только вот как, если ноги подкашиваются? В больнице стояла мягкая разомлевшая тишина. Николай Ильич протопил недавно печку и ушел в раздаточную. Измаил Осипович только что закончил амбулаторный прием, Мария знала, что теперь таде тихо отдыхает в своем кабинете. Она опять коснулась ступнями пола, собираясь встать. Вдруг тонкий пронзительный визг врезался, воткнулся в теплую мякоть тишины. Мария присела, испуганно поджав ноги.

— Значит, выпишешь, а, лепило?¹¹ — услышала она мужской крик. Кричавший был не в себе от злобы.

— Ты ведь знаешь, Гришенька, — отвечал ласковый голос Измаила Осиповича, — меня засудят и расстреляют. За покрывательство. Мы ведь обо всем договорились с начальством твоим. Завтра выпишу, Гриша.

¹¹ Лепило — врач (из жаргона уголовников).

— Попробуй только! Заколю, с...!

Голоса доносились из кабинета доктора. Мария поняла: на обходе Израил Осипович сообщил Зэку Зэковичу, что выпишет его. А тот не хочет. Заколет! Израила Осиповича заколет!

Ей вспомнился рассказ про фельдшера, недавно погибшего в лагере для заключенных, что был где-то неподалеку на другом берегу Енисея. Фельдшера зарезал зэк за то, что он не положил его в медсанчасть. Сорок три раны насчитали на его теле. Она запомнила эту цифру. Поджатые ноги Марии сами собой оказались на полу, она вскочила с кровати и пошла на голоса, не помня ни о чем, кроме того, что таде угрожает смерть. Боясь не успеть, она почти побежала по коридору. Ей казалось, что она бежит долго, хотя кабинет доктора был совсем недалеко от ее палаты. Дверь была чуть приоткрыта. В широкую щель недавно поставленной, некрашеной сосновой двери — Мария чуяла ее запах — она увидела щуплую низенькую фигуру Зэка Зэковича, стоявшего к двери спиной. На нем была почти новая, розоватого цвета фланелевая рубашка, что выглядело тут странно, но Мария тут же забыла о ней, увидев шрам поперек всего затылка Зэка Зэковича, страшный, кривой с круглыми следами от шва, вот же гадость, подумала она. Какое-то дикое напряжение, неожиданная злая сила ощущалась в этой подавшейся вперед розовой спине Зэка Зэковича. Мария не дала себе испугаться. Она тихо на цыпочках босых ног вошла и встала в углу слева от двери. Пол был холодным, но сейчас она не чувствовала этого. У левой стены кабинета, ближе к входу располагалась кушетка, спальное место доктора. Вместо подушки был приспособлен низенький сундучок-подголовник со скошенной крышкой. Теперь ей было видно, что правую руку Зэк Зэкович держал за пазухой. Израил Осипович стоял у стола лицом к Зэку Зэковичу.

— Гриша, — дружелюбно проговорил доктор, — у меня нет оснований держать тебя. Ты нужен своим хозяевам. Они ни одного лишнего дня мне не простят.

— Значит, нет?

— Нет и нет, Гришенька, — отвечал Израил Осипыч.

— А это ты видел?

Зэк Зэкович сделал резкий выпад рукой, которую держал за пазухой.

— Мне что так, что этак конец. Так лучше от твоей руки, Гриша. Все же я лечил тебя, — задумчиво сказал доктор.

Мария готова была выскочить из угла и накинуться на Зэка Зэковича, но в этот момент кто-то распахнул дверь, и дверное полотно плотно укрыло ее. Она выступила чуть вперед, высунула из-за двери голову. Майн Гот! Это же Феликс! Как он здесь... что он здесь...

Феликс быстро шагнул вперед к Зэку Зэковичу, тот услышал шум, повернул голову, а потом и весь повернулся к Феликсу.

— Гриша? — недоуменно спросил Феликс.

Бешеные, бегающие глаза Зэка Зэковича с трудом смогли остановиться на Феликсе.

— А... это ты, Горбатый? Хорошо в бригадах ходить? Баб, говорят, имеешь, сколько...

— Нож отдай, Гриша.

— Сначала я...

Зэк Зэкович повернулся к доктору и сделал движение вперед. Феликс кинулся, чтобы выбить или перехватить нож. Но Гриша молниеносно развернулся и, вытянувшись, как зверек, прыгнул на Феликса. Феликс охнул, подхватывая живот, и медленно сел на пол. Мария видела: изумление, испуг исказил его обветренное, твердое, как скальная порода, лицо. Зэк Зэкович держал зажатый в ладони нож, небольшой, с кривым лезвием, и конец его поблескивал мутно-красноватой влагой. Израил Осипович шагнул

к Феликсу. Гриша двинулся наперерез доктору, остановил его. Они стояли теперь в той же позиции, как когда Мария вошла. Шуплая низенькая фигура Зэка Зэковича, затылок с большим и глубоким, как межа, шрамом.

— Ты все еще возражаешь, паскуда? — голос Гриши потерял визгливую истеричность, стал уверенным, командным. Видно, то, как он наказал Феликса, прибавило ему решимости. Доктор медлил с ответом. Положение становилось страшно опасным. Мария, неслышно прошла к кушетке, обеими руками подняла сундучок-подголовник, подхватила его за дно и на обретших внезапную упругость ногах прыгнула в сторону Зэка Зэковича.

— Шайс! — вырвалось у нее.

Это универсальное ругательное слово, с детства засевшее в голове, выражало все негативные оттенки: досаду, презрение, ярость, бессилие, злость, обиду, ненависть, горечь — все что угодно. Так ругались в деревне все и даже мама Таня, когда, например, загоняла домой коз и овец. Гриша не успел повернуться на крик, ибо подголовник со всей силы обрушился ему на голову. Он качнулся и потом, как сухой лист, легко свалился к ее ногам. Ножик выпал из разжатой руки, стук о деревянный пол был негромок. Мария стояла над Гришей. Феликс, все так же придерживая рукой живот, ошеломленно глядел на Марию. Глаза ее, те, которые он знал, голубые робкие островки, полыхали теперь синим огнем гнева. Руки крепко и неподвижно держали сундучок. Измаил Осипович с величайшим любопытством смотрел на нее.словно бы он обнаружил у нее, к примеру, третий глаз или второе сердце: интересный, весьма интересный случай. Он подошел к Марии, пробуя забрать у нее сундучок, но ее пальцы не думали никому отдавать спасительное орудие. Доктор настойчиво потянул сундучок и строго сказал:

— Отдайте же мне сундук, он мой.

И тогда она увидела таде, ослабила и потом разжала пальцы. Доктор забрал сундучок, поставил его под кушетку, задвинув поглубже к стене. Ноги Марии подкашивались, и, видя это, он усадил ее все на ту же кушетку, а сам направился к Феликсу, который к тому времени уже поднялся, стоял, поддерживая то место, куда попал нож Гриши.

— Товарищ бригадир, и вы пожалуйста на кушетку, я вас осмотрю.

— Ниче, — сказал Феликс, — я постою.

— Вежливым решили стать? Вы ранены! Быстро на кушетку! Снимите верхнюю одежду.

Феликс, оттопырив красивые губы, исподлобья взглянул на доктора, сел рядом с Марией. Но раздеваться не стал. Только сказал:

— Царапнуло поверху. Я уж сам посмотрел.

Измаил Осипович возмущенно взмахнул крылом, так сейчас смотрелась его взлетевшая рука в белом широком рукаве халате.

— Ну если...

И направился к Грише.

— Гришенька, ты как? — ласково сказал доктор и крепко шлепнул его по щеке.

Гришенька ничего не ответил. Он расположился в довольно естественной и удобной позе, лежал на боку, уютно подогнув ножки. Лицо было чуть удивленным, словно он спал и видел добрый сказочный сон. Не хватало только кулачка под щекой. Измаил Осипович присел и стал осматривать ему голову. Удар пришелся чуть выше правой затылочной кости, дальше сундучок, видимо, скользнул посередине затылка. Волосы в этом месте были чуть влажноваты от излившейся крови.

— Он не умер? — чувствуя в горле удушье, а в груди тошноту, спросила Мария.

— Да что вы! Череп у него к ударам привычный, а тут больше десяти дней простой. Скоро очнется. Но сейчас без осознания. А у меня теперь есть основания поддержать его еще недельку.

Из коридора послышались чьи-то шаги, они то недоуменно замирали, то снова возникали.

— Это Николай Ильич, — обрадовался Измаил Осипович. — Ники!

Шаги приближались.

В открытую дверь, пригнувшись, вошел Николай Ильич в расстегнутом ватнике, с шапкой в руках.

— Ники! Куда вы пропали?

— Я с раздатки пришел, пишу вам принес, — певучим, нарочито заботливым голосом мамы-козы ответил санитар. Он вроде не особо удивился, увидев скопление людей в кабинете доктора — и сидящих на кушетке, и лежащих в горизонтальном положении прямо на полу. Только спросил, указывая кивком на лежащего Гришу:

— Что за сон младенца в прекрасный полдень?

— ЧП, Николай Ильич. Вернее, ПЧ, перелом черепа, — навскидку поставил диагноз доктор, — открытый, легкий.

— Он хотел резать Измаила Осиповича, — жалобно сказала Мария и заплакала.

— Только пугают, — поморщился Измаил Осипович.

— Ага, пугают. Уж сколько вашего брата по северам урки зарезали, — язвительно сказал Феликс, вставая с кушетки.

— Вас, товарищ бригадир, он точно резанул. Все же я осмотрел бы, — сказал доктор, направляясь к кушетке.

— Ерунда. Царапнул поверху, — снова сказал Феликс и встал.

Он достал из кармана мятый бумажный кулек и протянул доктору.

— Корешки, какие ты раньше просил, Осыпыч, я принес.

Доктор машинально взял, сунул кулек в карман халата.

— Николай Ильич, будьте так любезны, Зэка Зэковича транспортируйте в палату. Там его перевяжем.

— Сюда, значит, сам пришел, а теперь его неси, — проворчал Николай Ильич.

Он поднял с пола ветхое маленькое тело Гриши и понес.

— А вы, — обратился Измаил Осипович к Марии, — шагайте в свое узилище.

— У нее же траншейная стопа. Я отнесу, — сказал Феликс.

Измаил Осипович заметил загоревшиеся желтым огнем глаза бригадира.

— Товарищ Горбатко! Уважаемый бригадир, — доктор приложил руку к сердцу, — прошу вас! Если у вас нет нужды в медицинской помощи, уходите. Вы ведь знаете...

Мария встала с кушетки. Она вспомнила, что всего полчаса назад не могла сделать и шагу а теперь она ходячая и даже бегающая — вон как пришпорила, когда испугалась, что Гриша доктора зарежет. Сейчас правда ноги ослабели, но надо идти. Медленно переставляя босые ступни, миновала она порог кабинета и по стеночке, по стеночке пошла через коридор к своему узилищу. Феликс шел за ней, доктор за Феликсом. Эту маленькую, еле двигавшуюся колонну встретил в коридоре отнесший Зэка Зэковича в палату Николай Ильич.

— Ники, проводите бригадира до выхода. А я должен заняться пострадавшим.

— Да он вас и не зовет. Он все какого-то горбатого кличет, — доложил Ники, провожая Феликса к выходу.

Феликс вошел в медпункт озабоченным, а вышел из него озадаченным. Хреново, что он поцапался с Гришей. Гриша — человек опасный. Но когда было об этом думать, ведь он нож на Осыпыча наставил. Теперь поздненько метаться. Феликс знал Гришу. Все, что говорил о нем Измаил Осипович, было правдой. И зэком Гриша был, самым нату-

ральным уголовником, и нужным человеком, и охотником. Ну как охотником. Стрелять из охотничьего ружья, конечно, он умел, но это и Феликс может. Гриша был тем, кто мастерски умел заставить охотников дешево продать, а то и даром отдать часть драгоценной пушнины. Выбить любым путем. И не только охотников, но и охотниц. В войну в охотники пошли многие местные женщины. Трех из них Феликс сам знал: двух дочерей Петра Имбатова, Матрену и Александру, и внучку деда Андрея Суровикина, Маринку. Отчаянные, грозные девки. На второй год войны охотники северных артелей, которых не успели забрать на фронт, получили бронь и не призывались. Но всю пушнину они должны были сдавать государству. В июле 1942 года была создана торгово-заготовительная организация, которая отвечала за пушной промысел, открылись заготовительные пункты пушнины. Членам охотничьих отрядов выдавались ружья, порох, спецодежда. За пушнину получали немного деньгами, а часть необходимыми товарами. И охота пошла. Энкавэдэшники, отправленные сюда служить свою нелегкую службу, а многие еще и с женами, семьями, желали иметь не только тяготы, но и барыши. Кто конкретно и как Григория из тюрьмы вытащил и поставил на такое дело, Феликс не знал, но выбор был точным, мало кто с такой работой справился бы. Были у него помощники, но так, на подхвате. Предпочитали серебристого песка, соболя, белого горноста, на крайняк лисицу. Забрать такую добычу у охотников — дело трудоемкое и рискованное, а Гришка любил жизнь ленивую, беззаботную и потому ненавидел свою работу, только куда было деваться? По лагерям сидеть, да еще на северах, тоже не сахар. Феликс вошел на склад, снял телогрейку и осмотрел то место на животе, которое задел Гришкин нож. Окрашенный кровью разрез на новой телогрейке его очень огорчил. Теперь починка будет на самом видном месте. За рану он не волновался, ему не было больно, и крови вытекло не больше, чем когда разрежешь палец. Он задрал рубашку, посмотрел: рана рваная, словно Гришка не ножом, а клыком разорвал. И клочок кожи висит. Феликс выругался. Обработать бы, да нечем, водки, самогона ни грамма. Ну Григорий! Чтоб ни дна тебе ни покрывки. Кто ж это вломил ему, разукрасил морду так, что я даже не узнал его? Осипыч вроде говорил, что не вспомнит он ничего после того, как Маша его сундуком вырубил. А Маша-то! Как рысь, накинута на Гришку! А Гришка свиреп и мстителен...

* * *

Мария, дойдя до палаты, упала поперек постели, уткнувшись лицом в сброшенное¹² одеяло. Лоб и все лицо ее было влажным, и она дышала так, будто одна, без отдыха в одиночку пробила майну. Немного придя в себя, она переместилась к изголовью кровати и теперь сидела ошеломленная, вусмерть усталая. Резкий, выворачивающий желудок голод и тошнота одолевали ее. Она решила достать кусочек хлеба, который держала про запас в тумбочке, и заметила, что на ней стоит обед, который Николай Ильич, видимо, занес ей, как только вернулся из раздаточной. Он, конечно, удивился, что ее нет в палате, и сразу пошел в кабинет доктора. Мария достала вчерашний хлеб, темный, смешанный с отрубями, а два свежих кусочка спрятала туда про запас. Взяла железную миску с варевом, это был гороховый суп. Желудок без восторга принял холодную, почти несоленую гороховую массу, но наполнился и перестал есть сам себя. Медленно и тщательно жуя, Мария съела хлеб, вот теперь получше.

С момента, когда кинулась она спасать Измаила Осиповича, прошло не более получаса, но ей казалось, что она не была в палате целый день. Что это было? Гриша хотел зарезать доктора. Она чуть не убила Гришу. Феликс ранен. Феликс. Зачем он пришел?

¹² Сброшенный — сброшенный как попало, смятый.

Ах да, принес какие-то корешки. Плохой он или хороший, Феликс? Он зазвал ее на склад, обидел, но письмо от отца перебивало все обиды. Он кричал на них во время рыбалки, если что не ладилось, заставлял работать до изнеможения. Говорят, он обижал и других женщин. Но на руках принес ее в медпункт, фактически спас от гангрены. Правда, Вера, которая один раз, несмотря на все запреты, пробралась к ней повидаться, сказала, что это он за свою шкуру трясся, потому что обязан был обеспечить всех подходящей обувью. Но где было взять обувь, на склад ничего не дали. А сегодня, если бы не он, Измаил Осипович, ее таде, мог бы погибнуть! Мама Таня говорила, что после смерти плохие и хорошие дела человека ангел будет класть на весы. Если добрые дела перетянут, пойдешь в рай, если злые — в ад на мучения. Справедливые весы. Мария легла, завернулась в одеяло. Отчего такая усталость? Слабость. Как же она работать, рыбу ловить будет? Она медленно шла к берегу озера, края которого были текучими, синими, а середина горела желтым с черными дымами пламенем. Огромные, как башня, весы стояли на берегу, на белом песке. Около них находился Ангел, и она смутилась, испугалась, что у него было ее лицо. На одной чаше весов горой были навалены черные тяжелые конверты, другая чаша была почти пуста — лишь несколько ярких маленьких конвертиков. Тонкий серый конверт упал на них сверху, и Ангел улыбнулся ее губами. Чаша с конвертиками мягко опустилась вниз, приподняла вторую, та качнулась, взлетела вверх, и из нее дождем высыпалось что-то похожее на сожженные, зловонно пахнущие бумажки.

— Мари... Мария Варум, — услышала она Ангела и удивилась, как похож его голос на голос доктора.

Измаил Осипович взял ее за плечо.

— Просыпайтесь!

Мария проснулась. Полулежа на постели, она все еще видела озеро, глядела на пустой берег, где только что стояли весы.

— Дайте я посмотрю, что с вашими ногами. Отчего это они вдруг пошли? И я тороплюсь, фройлин. Очнитесь от сладких грез.

Мария отложила одеяло, приподняла халат, укрывавший голени.

Доктор любовался на рубчики, так ему полюбоившиеся.

— Теперь встаньте.

Мария опустила ноги, встала, и ноги держали ее так же, как тогда, когда она устремилась спасать Измаила Осиповича. Слово костяк со страху naros.

Измаил Осипыч ухмыльнулся.

— Как изящно вы решили наш с Гришей спор: уголовнику — подголовником.

— Как он? — тихонько спросила Мария.

— Впал было в половую кому...

— Как это в половую?

— Ну вы ж его на пол уронили, дорогая Почемуча. Теперь уже очухался. Все Горбатого костерит. Врезался он в его зашибленную память. Присаживайтесь. Завтра утром я вас выписываю, Мари. А то вдруг Гриша вспомнит, как вы его по-немецки дерьмом обозвали. Скажет, помню, как она обзывалась и «капут Гришке!» кричала.

— Не кричала я капут.

Доктор засмеялся.

— Когда уж вы привыкнете, что ваш доктор и таде большой шутник. Мари, мы с вами сделали почти невозможное, das Unmögliche! Ноги ваши будут ходить, бегать, танцевать — все им можно, кроме сырости и ледяной воды. Поняли? А теперь мне пора на требы.

«Требами» Измаил Осипович называл посещение больных в бараке, землянках и в станке Осино, в двух километрах от них.

На следующее утро Мария ожидала последнего обхода Измаила Осиповича. Но раньше доктора в палату пришел Николай Ильич, он принес одежду: бушлат, шапку и новые штаны, заранее принесенные Верой. Вещи положил в изножье кровати.

— А вот и главные виновники, — сказал Николай Ильич и поставил на пол ее боты. В каждом, свернутые в рулончики, лежали ее обмотки. — Но пойдете вы отсюда совсем в другой обуви. — Он протянул ей бумажный мешок. Мария удивленно глядела на него и мешок не брала. Тогда санитар, взял его за дно и, перевернув, хорошенько потряхнул. Из мешка упали на пол дымчато-серые, с изящно подогнутыми верхами валенки.

— Откуда это? — спросила Мария.

— Знаете, Мари, это прямо загадка. Я нашел мешок около кабинета доктора. И эти валенки, как я вижу, прямо на вашу ногу. Примерьте, битте!

Мария встала и надела валенки прямо на босые ноги.

— В рай попала, — сказала она, ощущая сухое верное тепло этой чудесной обуви.

— Там и оставайтесь.

В палату вошел, казалось, влетел на чунях-сорокоходах Измаил Осипович.

— Ники, Грише рану обработаете тем же средством, что вчера, — шумно выдохнул он, — и бинты надо сменить.

— *Deest remedii locus ubi, quae vitia fuerunt, mores fiunt*¹³, — строптиво возразил, это было по голосу ясно, что возразил, Николай Ильич.

— *Nemo sapiens, nisi patiens*¹⁴, — вскричал доктор, неуступчиво и сердито взмахивая крылатым рукавом халата.

Мария покраснела. Ей показалось, что доктор с санитаром ссорятся из-за валенок. И она торопливо стала снимать их.

— Не, нет, — остановил ее Николай Ильич. — Валенки тут ни при чем. С выздоровлением, вас, сударыня. А мне надо идти.

Мария стояла, с сомнением глядя вниз, на мягкие жемчужно-серые с подгибом валенки.

— Валенки очень хороши, — сказал доктор, — подарок Деда Мороза, должно быть. Садитесь, Мари.

Мария присела на краешек кровати.

— Я выпиываю вас на легкий труд. Вот документ.

Измаил Осипович вынул из кармана халата сложенный вдвое листок.

— Я как на лов пойду, самой лучшей рыбки для вас оставлю, Измаил Осипович, — сказала Мария, не зная, не находя, как еще выразить благодарность. — Мы с Верой вам и пеляди, и ряпушки...

— На лов? — вскричал Измаил Осипович. — Я ей про легкий труд, а она про лов. Пока вода не прогреется, даже приближаться к воде запрещаю. Не ближе чем за двести метров!

Он подошел к ней поближе и тихо сказал:

— У меня есть одно намерение, Мари. Я подумываю обучить вас нашему медицинскому делу. У вас есть качества, говорящие за то, что вы будете толковой медсестрой, а может, и врачом. Но сначала мне надо разобраться с Эком Эковичем.

Глава седьмая

Мария шла по вытоптанной в снегу дорожке в сторону цеха, где она теперь трудилась.

¹³ Нет места лекарствам там, где порок становится обычаем (лат).

¹⁴ Никто не мудр, если не терпелив (лат.).

Неужели середина апреля? Дома в это время зацветала черемуха, набирали цвет вишни, а потом яблони и груши. А тут зима. Правда, что-то предвесеннее, едва уловимое, появилось в воздухе. Он сух и свеж от небольшого морозца. На темно-зеленой хвое пихт почти не осталось снега. А ведь недавно ветви ломались под тяжестью снежных навалов. Теперь они расправились, поднялись, окрыленные свободой. И в этом тихом, едва заметном полете тоже был первый намек на неминуемый приход весны.

В десятых числах мая тронулся лед на Енисее. Спецпереселенцы смотрели, как двухметровой толщины лед, с которым они столько месяцев вступали с пешнями наперевес в схватку, теперь сам собой ломался, крошился, истаявал, исчезал. Плыли по водяным пространствам ледяные глыбы и огромные ровные льдинищи, целые ледяные поля, на которых уместились бы несколько бараков, плыли льдины поменьше и совсем дробненькие, уже обсосанные, изглоданные водой. Мария вырвалась посмотреть на ледоход лишь один раз. В цехе было много работы, шла подготовка к летнему лову. Она все еще ходила в валенках, потому что от земли шел губительный для ее ног сырой холод. Она стояла на берегу рядом с Верой.

— Морейя, смотри, шиханы какие! — крикнула Вера, подпрыгивая, вытягивая шею, не престанно топоча ногами. Она взволнованно схватила подругу за локоть. — Как у нас на Волге!

По вздутой течением енисейской воде несея ледяной шиханник. Льдины, вставшие на ребро, запрыгивали, громоздились друг на друга, принимая вид гигантских диковинных чудовищ. Ну нет, на Волге Мария никогда не видела таких. Страх и ужас! А ревет-то что! И крутятся у самого берега, того и гляди, выпрыгнут и зашибут. А на Волге ледоход веселый.

— Пойду я, Вера. У нас работы много.

Еще несколько дней слышался с Енисея оглушительный грохот ледохода. Растаявшая река разлилась, затопив берег. Вода вынесла на него все, что разрушила и смыла, когда гнала льдины с Туруханска, Якутова, Конощели, Ангутихи и других поселков. Бригада Феликса торопилась прибрать это даром доставшееся к рукам. Люди выхватывали из воды добро, пока не смыло назад в Енисей: балки, доски, обломки разрушенных хозяйственных построек, остатки разбитых барж и лодок, бревна, хорошие бревна и в большом количестве. Все сгодится на весеннем строительстве. Феликс очень старался. Антипов скоро снова наведается, вот пусть посмотрит, как он поработал. С тех пор как выписалась Маша, он видел ее каждый день в цехе. Но наливное яблочко все еще оставалось под запретом. Неожиданные обстоятельства не давали ему привести ее на склад. Неделю назад рана вдруг стала болеть дергающей болью. Он глянул и обомлел. Пустяшный, казалось, порез, словно сам собой углубился и расширился, рана была раздувшаяся, а вокруг обширная, сухая, красная. Феликс злился, ругался почем свет. На рожу похожа, как у отца была, заметил он. Ну ниче, пройдет. Это ж просто порез! Сколько раз он разрубал себе пальцы до кости, все зарастало как на собаке. Сегодня он заметил, что рана в середке наполнилась густым желтоватым гноем. Но к Осыпычу решил не ходить. Сам справится, было у него такое в Томбаеве, когда он однажды пальцы шибко натер сапогами, и нога воспалилась так, что ступить нельзя было, от температуры трясло, как суку. Наталья алой прикладывала, жеванный хлеб, еще какие-то снадобья, все и вытянуло, а потом зажило. Феликс, морщась и матерясь, вычистил гной, залил водкой, но болеть стало еще больше, острее, жарче, а уж если заденешь... Так что свидание было невозможно.

Как только очистилась река, в поселок доставили новую большую партию переселенцев. Среди них оказалось немало настоящих плотников и даже строителей. Антипов баржей доставил, как и обещал, готовый лес для строительства засолпункта и нового барака.

— Барак подождет. А засолпункт за месяц должен быть построен. А то смотри.

Это и все, что он сказал Феликсу. Пробыл день и отчалил. Феликс, взяв себе в помощники Роберта Иваныча, Яшу и пару плотников из новеньких, преодолевая боль и температуру, строил засолпункт. Хорошо, погода была сухая. В три недели в целом закончил это дело. Осталось мало-мальски оснастить засолочный пункт, и можно принимать рыбу. Жил Феликс по-прежнему на складе. Прибыл Поликарп руководить летней ловлей. Он оказался не таким дураком, каким воспринял его поначалу Феликс. Возглавляя основную бригаду, которая ловила рыбу большим стрежнем на Енисее, стоношил маленькие группки в два-три человека и отправил их на приречные старицы, озера и курьи. Отослал на курьи и Машу с Верой. Среди вновь прибывшего люда они считались опытными рыбаками. Феликс вызвался было забирать у них с курьи рыбу, но Поликарп подумал, пожал плечами и сказал: сами по очереди будут привозить. В основном рыбу привозила Верка, назло мне сама возит, думал Феликс. И отряжал Яшу принимать продукцию. Всего пару раз привозила рыбу Маша, он принимал улов и ничего не мог ей сказать, только с тайным удивлением посматривал на нее. Тонкая фигура девушки от физической работы стала мускулистой, плечи раздалились, как у пловчихи, выбеленные солнцем волосы вздымались надо лбом пышными курчавыми прядями. Взгляд посветлевших, словно тоже чуть выгоревших глаз спокоен, и вся она какая-то другая. Траншейная стопа так на нее повлияла или сам Осипыч? И не прикажешь: приходи на склад. Кто он теперь такой? Рабочий, засольщик. Как же он хочет ее. Такую, новую, он еще не пробовал. Он и злился на свою непреодолимую страсть, привязанность, тоску по спецпереселенке, да еще немке, и желал ее, совсем обезумевший.

Работа на засолпункте и даже само помещение душное, темноватое, до тошноты осточертело Феликсу. Кругом стояли бочки, чаны, баки с засоленной рыбой. Вонь свежей, малосоленой и просолившейся рыбы преследовало его теперь круглосуточно. Поликарп выделил ему двоих помощников — Яшу-гармониста и Давида, пожилого, молчаливого немца, правда усердного, работает как машина. Рыбу, которую приказано было чистить, чистили на длинных столах, стоявших в предбаннике засолпункта. На эту работу Поликарп определил двоих стариков и несколько парнишек-подростков. Вот и смотри на них весь день. Хоть бы бабу какую молодую послал.

— Это он специально, — злобился Феликс, — донесли небось, что я забабенник¹⁵.

Поликарп как-то не особо считался с ним, общался только по необходимости, разговаривал холодно, чем бесил и нервировал Феликса. С тех пор как испытания сыпались на Феликса одно за другим — изгнание из бригадиров, подозрительные намеки Сиухина, траншейная стопа Марии и рана, нанесенная Гришей, которая не давала ему встретиться с Машей, — ум и душа Феликса Горбатко помutilись, а характер вконец испортился. С ненавистью и раздражением думал он обо всех подряд — цинготных доходягах спецпереселенцах, энкавэдэшниках и их шестерах, о прошмантовке Верке, о докторе, паташонке носатом Осыпыче, о Роберте Ивановиче, который остался рядчиком при Поликарпе и сразу как-то отдалился от него. Приходя на склад, Феликс прикладывался к бутылке, не желая закусывать, еда не лезла, и думал, думал безостановочно и безысходно, что жизнь его идет под откос, что он говно, и не может измениться, и ничего не может изменить, вот приедет Антипов с засолки, его тоже выкинет, а если Поликарп настучит, так и предъявит состав преступления, или как там у них называется. И уже без всякого страха думал, что Гриша наверняка вспомнил, как Феликс пошел против него, и так этого не оставит. Одно было хорошо: рана его на животе очистилась и подживала.

В июле началась тихая, теплая, а днем жаркая погода. В полуденный зной пахло созревающей ягодой, распаренной хвоей и смолой, сладко млели северные торопя-

¹⁵ Забабенник — волокита, бабий хвост, по-теперешнему: слабый на женский пол.

щиеся созреть травы, все томилось и Феликс томился. В один из таких дней он почувствовал столь сильный плотский соблазн и впал в такое невыносимое беспокойство, что решил сегодня же увидеть Машу. Он знал, где они с Верой рыбачат, всего в километрах четырех от поселка, он пойдет туда через лес, это будет быстрее. Он сплавит куда-нибудь Верку, хоть бы ему убить ее пришлось, лишь бы остаться с Машей, с ней одной.

— Я в поселок схожу по делу, работайте тут, — сказал он Яше, который стоял на лесенке у высокого чана с рыбой и сыпал в него пригоршнями соль из котелка. Яша повернулся, с сочувствием поглядел на Феликса. Нелегкое время у бывшего бригадира.

Феликс пошел на склад, надел брезентовую куртку, но потом снял, жарко, засунул в мешок, взял накомарник и тут же отбросил в сторону, так обойдется, забрал из шкафчика весь хлеб, какой у него был, взял две банки самодельной тушенки, которую вымывал за соль у одной бабы в поселке, положил в карманы кедровых орешков. Он чувствовал себя как во хмелю, несколько раз доходил до порога, что-то вспоминал и возвращался, зачем-то залез в сундук, ох да тут же юбка Маши, взял ее, увидел соболию шкурку, распростертую поперек сундука, тоже вынул и сложил в мешок. Выйдя со склада, напрямик направился к лесу.

Глава восьмая

Мария торопилась. Верткий неустойчивый облесок¹⁶ сейчас шел по реке ровно и спокойно, она гребла внимательно, осторожно: чуть зазевайся — и это бревно враз перевернется. В лодке лежал увесистый груз — рыба, которую она везла на засол-пункт. Уже месяц они с Верой рыбачили по озеркам и курьях вблизи Енисея. Вода прогрелась, и это было спасением для ног Марии, от холодной ломило их нестерпимо. Считай, весь день они ходили с бреднем по пояс, по грудь, а то и по шею в воде. Бредень вели чутко, с острасткой, не дай бог зацепиться за корягу, тогда беда: и бредень порвется, и рыба, в тяжких трудах пойманная, уйдет. Чужой улов, подводили к берегу, поднимали сеть. Рыба тянула мотню вниз, казалось, все кишки вытянет. Но они были молодыми сильными женщинами и справлялись, и, кроме того, теперь у них была временная свобода и радость жить самим по себе. Припасено было по мешочку овсяной муки, из которой делали они на обед «затируху», добавляя крапиву, дикий лук, чеснок, и всякую зелень. У каждой была пайка хлеба, который получали они, привозя рыбу. И соль у них была, строго выданная самим Поликарпом. Если ловили сверх нормы, оставляли себе несколько ельцов и чебачков, тогда в обед варили уху. Ложились спать в шалаш, когда было совсем светло, потому что в июне дни здесь никогда не кончаются, солнце заходило за лесом и тут же, считай, в следующую минуту, огромное, вспыхивающее, всходило на то же место. Марию это очень забавляло. У них дома в июле в девять часов уже темнело, а в полночь небо черное и звезды желтоватые с блеском, а тут прозрачные, как вода, иные чутки в голубизну. Вера рассудительно отвечала:

— Дитя ты горькое, Моря. сравнила! Оно ж север.

Порыбачив на одном водоеме, перекочевывали на другой. Всякий раз переносили жерди и ставили другой шалаш, плотно укрывая его ветвями, а вход завешивали брезентом. Обустраивали костровище, храня уголья в маленьком железном котелке, накрытом крышкой. У них было немного спичек, но старались их тратить только по крайности. Мария с улыбкой вспомнила, как вчера, умаянные гнусом, они развели дымокур, накидав осиновых горбылей, коры и сухого мха, чтобы отдохнуть хоть чуток от комарья. Не успели даже присесть, как на поляне появились олени: двое корена-

¹⁶ Облесок — выдолбленная из лесины лодка.

Так любила говорить Вера, и Мария научилась от нее. Вопреки смыслу пословицы ей почему-то всегда при словах «свежи» представлялась куча только что выловленной рыбы.

— Здорово, рыбачка!

Яша подошел к пристаньке.

— Wie bist du hergekommen, Marie?¹⁸ — тихо спросил он. Никого не было рядом, но была привычка опасаться говорить на родном языке.

— Heute leuft es wie am Schnürchen¹⁹.

Мария наклонилась к лодке, сбросила старый, с сырыми пятнами-потеками брезент. Им была укрыта рыба. Три корзины с большими плетеными ручками-ушками, выведенными в бока тары, стояли на дне, полные пестрого улова.

— Хорош урожай! — одобрил Яша.

— Было бы больше. Да ветер вчера всю рыбу разогнал.

Яша приподнял корзину, что стояла близко к носу лодки, и сразу опустил.

— О майн Гот! Как вы грузили?

— Ага! Это тебе не гармошку таскать! — засмеялась она по-девичьи звонко, задиристо. — А ты один?

Она понизила голос.

— Во ист Феликс?

— Никто не знает, пропал, — вздохнул Яша.

— Zusammen mit dem Kommandant?²⁰ — усмехнулась Мария, намекая на то, что Феликс с комендантом гуляют после какого-нибудь удачного дела.

— Да нет. Сам пропал. Мне сказал, что в поселок пошел по делу. И не вернулся. Поликарп приходил, допрашивал меня, куда Феликс подевался.

Мария решительно подняла корзину. Корзина дрогнула, колыхнулась всей тяжелой массой, резко запахло даже не рыбой, а илом, дном, подводной травой. Яша, встав за спиной Марии, подхватил тару с боков. Ей было тесно, неудобно, но и хорошо так стоять, слышать мальчишеское безопасное дыхание.

— Что? Так и понесем? — спросила она.

— Отпусти и отойди. Я сам.

Мария отпустила ручки корзины. Что ж она брезент бросила, не убрала? Тщательно свернула его, уложила в нос лодки. Постояла задумчиво и наклонилась, чтобы взять корзину.

— Подожди, вместе понесем!

Яша быстрым шагом шел к ней.

Они вместе перетаскивали остальную рыбу в помещение для засолки и стояли теперь на узенькой ступеньке крыльца.

— Почему тут нет жимолости? — вдруг спросила Мария.

— К лесотундре близко — вот и нет. А как мы с родителями на первом поселении под Омском жили, там была, дичком росла.

— У нас дома было столько жимолости! По всем улицам, как изгородь.

— А у нас в деревне синий вьюн у всех по заборам вился. Аллес вар блу... Яша вздохнул. — Нам туда уже не вернуться.

— Пойду хлебный паек получу и в Осино схожу, — сказала Мария. — Потом в медпункт забегу и тогда уже в обратный путь.

Яша кивнул.

— Провожу потом тебя.

¹⁸ Как добралась, Мария?

¹⁹ Сегодня как по маслу.

²⁰ Вместе с комендантом?

Мария любила эти прогулки в старый коренной поселок, или станок, как здесь называли населенные пункты. Он находился в всего в двух километрах. Осино вольно и живописно располагалось на небольшой равнине. Оно состояло всего из нескольких улиц, главная из которых выходила на маленькую площадь с магазином, пунктом приема пушнины и конторой. Половина конторы теперь занимала комендатура, ибо здесь тоже жили спецпереселенцы. Те, что прибыли прошлой осенью, остановились на постой у местных жителей, но доставленных этой весной брать на постой было уже некому. Они расселились в спешно вырытых землянках, шалашах и даже в выкопанных для будущих землянок ямах. Песчаный холмистый край лесного массива со стороны поселка окаймлял светлый сосняк с широкой опушкой, которая называлась Чертовой. Мария любила это место за то, что оно было похоже на Кернвальд — сосновый бор на песчаном холме близ ее деревни. Сосны на холме насадил какой-то добрый человек по фамилии Керн, оттуда и пошло название. За Чертовой опушкой и сосняком начинался густой смешанный лес. В глубине его мощно и неуступчиво теснились кедры и пихты, дальше стояли попеременно лиственные: осины, березы, и густые, образующие непроходимые дебри кустарники. Мария шла по главной улице, длинной и просторной, где жилища стояли в едином порядке. Избы были настоящие, бревенчатые, с высокими крылечками и наличниками на окнах. Мария с удовольствием разглядывала фасады, заглядывала во дворы и любовалась обширными ярко-зелеными выгонами для скота. Скрамное, но настоящее человеческое жилье. Правда, видно, как ветшают постройки, а подправить некому: мужчин тут почти не осталось, все на войне. Улица была пуста. Лишь какая-то старуха работала тяпкой на огороде, то и дело наклоняясь, чтобы вытянуть с корнем высокую траву. Картошку полет. У следующего дома она увидела за изгородью участок с высаженной капустой. Стеблей сорок будет. Кочажки начинают завязываться. Она так и шла бы дальше, разглядывая каждый дом, заглядывая за изгороди, но ее отвлек шум колес. Навстречу ехала телега, не волокуша с двумя большими колесами, на каких в основном ездят здесь из-за непролазной грязи, но настоящая, в четыре колеса. Колеса были большие, как у колесницы, и повозка высилась, будто помост. Повозка ехала, изредка постукивая ступицами, то погромыхивала, то издавала глухое занудное ворчание. Мария увидела Роберта Иваныча. Старший нарядчик в надвинутом по самые глаза картузе, подогнув под себя одну ногу и свесив другую, правил впряженной в нее низкорослой, покрытой густой шерстью лошадежкой. Он тоже увидел Марию и остановился раньше, чем она поравнялась с ним.

— Бист ду, Мария?²¹

— Я,дох²².

Улыбаясь, она пошла навстречу повозке.

— Кхорбатко. Феликс... — Роберт Иваныч кивнул головой в сторону помоста.

Мария не сразу поняла, о чем он говорит. За лошадежью и возницей ей совсем не было видно, что за груз лежит в телеге.

— Пригадира ножом, как кабана, савалили, ятрена феня.

Мария схватилась руками за живот, как Феликс тогда, когда его пырнул Гриша. Простонала:

— Кто-о-о?..

— Некхому, што ли? Урка, кеведешник, ди егерай аох²³, женщина аох, — с горьким осуждением перечислял Роберт Иваныч всех, кто мог бы убить Феликса. — Командант не пошел и броть не шевелил. «Ехай ты, Роберт Иф-аныч!»

²¹ Это ты, Мария?

²² Ну, а кто же?

²³ Охотники тоже.

Мария подошла к повозке, вплотную притиснулась, склонилась над Феликсом. Он лежал на спине, руки смирно, покорно сложены на груди. Роберт Иванович, что ли, уложил их? Тыльные стороны обеих кистей были покусаны гнусом, розовые, слившиеся в единые очаги мокрые ранки. Брезентовая куртка от груди до живота набрякла кровью, которая теперь свернулась, подсохла и в некоторых местах была почти черной. Лицо тоже было в комариных укусах. Страдание и усталость отразились на нем. Струя крови, вытекшая из чуть приоткрытого угла рта, попала на серую ткань ворота рубашки и впиталась в нее темно-красными пятнышками.

— Где его нашли?

— У Щертова опушка. Die Selma Jurks Kinder hab'n ihn gefunden²⁴.

Сельма Юрк жила с детьми в землянке на второй улице поселка, как раз напротив Чертовой опушки. Она уже три недели рыбачила на дальних курьях, а дети оставались под присмотром старшего сына Курта. Целыми днями ребятишки паслись то в бору, то на поляне, выискивая что-нибудь съедобное. По весне это была в основном всякая трава, самыми вкусными считались лук-слизун и черемша, корень-бодун, потом ягоды и грибы.

— А камандант меня звать, ехай за Феликс.

Медленные ворчливые слова Роберта Ивановича отдавались в ушах Марии гулко, тревожно. Она глядела на страдальческое лицо Феликса, на эти покорно, беспомощно сложенные руки, на пятна крови, впитавшиеся в серую ткань. И вдруг обхватила лицо руками, заплакала. Роберт Иванович с недоумением смотрел на Марию. Потом слез с телеги, подошел, встал около нее.

— Мари? Warum weinst du so, Мари?²⁵

Мария не отвечала и плакала все сильнее. Теперь она рыдала в голос, запрокинула лицо вверх и слезы, наполняя ложбинки под глазами, переливалась на щеки, подбородок, шею. Она не слышала Роберта Иваныча, не видела ни его, ни дорогу, ни даже повозку с телом Феликса. Душа сотрясалась от какого-то долгого мучительного невысказанного горя, и она сама в этот момент не объяснила бы, кого и что она оплакивает.

Роберт Иванович резко тряхнул ее за плечо.

— Ятрена феня! Он жил, как кабан, и стох, как кабан. Што плакать?

Мария ничего не отвечала. Она еще раз склонилась к Феликсу, провела ладонью по его плечу и потом пошла, даже не попрощавшись с Робертом Иванычем. И все плакала. Она дошла до Чертовой опушки. Примятая трава у самого входа в сосновый бор указала ей, где нашли Феликса. Сюда из последних сил он дополз и здесь умер.

* * *

Не заходя на засолпункт, Мария потихоньку спустилась к пристаньке, отвязала облесок и погребла — тяжело, отчаянно. Скорее к Вере! Почему ей так жалко Феликса? Она вспомнила, как стыдилась его, как терялась и обмирала, когда он подходил к ней на работе. Она боялась и не хотела, чтобы он навещал ее в больнице, и на засолпункт ехала всякий раз, беспокоясь, что придется с ним встретиться. Но почему, почему так больно, что он умер?

Доплыв до места, она не стала, как обычно, громким окриком с реки звать Веру, чтобы вместе перенести лодку. Оставила облесок на песке и пошла к шалашу. Был полдень, она увидела дым, значит, Вера развела дымокур и сейчас около него. Но Веры у костра не было. Она вошла в шалаш, упала на служившее постелью тряпье, положен-

²⁴ Дети Сельмы Юрк его нашли.

²⁵ Почему ты так плачешь, Мари?

ное на лапник, и отключилась. Она научилась вот так отключаться минут на пять-десять, чтобы не умереть от напряжения и усталости или не сойти с ума от потрясения. Вера вошла в шалаш и разбудила ее.

— Морю, вставай!

Мария очнулась, веки, осолоненные плачем, распухли, кожу стянула соль. Она поднялась, взглянула на Веру и обиженным, слезным голосом сказала:

— Феликса убили.

Вера, сидевшая рядом на своей постели, не шевельнулась. Казалось, она ничуть не удивилась не ужаснулась и не заволновалась.

— Знаю. — сказала она. — Морю, ведь он к тебе шел, окаянный.

— Почему? Откуда ты знаешь?

— Мешок я его нашла.

Вера потянулась к изголовью своей постели. Подняла рухлядь и вынула из-под нее заплечный мешок. Да, это мешок их бригадира. Уходя в поселок или уезжая куда-то по делам, он всегда брал его.

— Где ты его взяла?

— Я по землянику пошла. На Богатое место. Там и нашла. Прямо на кустиках лежал. Поглядела — никого. Ушла. Подождала и опять туда. Ну и забрала мешок.

— Дак, Вера... Феликса на другой стороне у бора нашли. На Чертовой опушке.

— Ты сама видишь. он был тут, Морю, это его мешок. Не знаю, может, встретил кого, испугался да и взад пятки?

— И про мешок забыл?

— Или специально сбросил? Он знает, что мы на Богатое место по ягоды ходим.

Вера быстро открыла развязанный мешок и вынула юбку.

— Это ж твоя.

Она со значением, ясным обоим, посмотрела на Марию.

— А ты еще плакать? Да его давно пора было зарезать, как свинью!

Она кивнула на мешок

— Тут хлеба килограмма два! И все кусочками. Морю, это же он у нас воровал, у переселенцев голодных.

Она схватила мешок, подняла, потрянула так, как, должно быть, если бы могла, потрянула Феликса. В мешке что-то звякнуло. Вера опустила его на колени и залезла в мешок рукой.

— Там тушенки две банки! — словно боясь, что кто-то услышит и немедленно выкрадет, шепнула она.

Мария в ошеломлении глядела на мешок. «Он от Гриши бежал. От него!»

От этой мысли у нее началась паника. Она боялась оставаться здесь, в шалаше, почему-то это казалось ей особенно опасным и страшным. Она жаждала скорей выскочить в открытое пространство, но сидела не двигаясь, в ужасе утыкаясь взглядом в брезент, закрывший выход. «Я должна, как Измаил Осипович, ничего не бояться. Ничего». Мария вспомнила доктора, стоящего в кабинете перед разъяренным Зэком Зэковичем. Она словно бы взяла и держала таде за руку, словно слышала его голос — насмешливый и бесстрашный, — и быстро приходила в себя.

— Смотри, что тут еще есть, — сказала Вера.

Словно темная пушистая тень послушно свисала с ладони Веры.

— Ты видишь? Морю, это соболю!

Вера на коленях пододвинулась к брезентовому занавесу и отодвинула его.

На свету мех заблестел, заискрился.

— Надо его вернуть, — оторопело сказала Мария.

- Кому? Феликсу? Или, может, Антипову отдадим?
- Коменданту, — сказала Мария.
- Никому, никуда. Никогда.
- Вера уложила шкурку назад в мешок, завязала его и спрятала под тряпье.
- Все нам. Мешок сожжем, хоть и жалко. Хорошая тара.
- Давай и шкурку сожжем!
- Нет, Моря, она нам еще пригодится. Феликса не вернешь, да и не надо. А нам жить и работать. Работать прямо сейчас, Моря. Будем тут сидеть — план не наловим.
- И рыбу не выполним, — с улыбкой сказала Мария.
- Заговариваюсь я, — устало сказала Вера, вздыхая и поднимаясь. — Облесок-то где?
- На Енисее стоит.
- Так пошли!
- И они пошли за лодкой.

Глава девятая

Мария была уверена, что Феликс погиб от ножа Зэка Зэковича, хотя убийца остался неизвестным. В первый же привоз рыбы на засолпункт Вера узнала, что Феликса не похоронили в поселке. Приехала какая-то женщина из Томбаева, сказала, что она жена Феликса, и увезла его. Сиухин не возражал. Никакого следствия заводить по убийству в тайге бывшего ссыльного Феликса Горбатко никто не собирался. Видно, так считал Антипов. Но Вере Сиухин сказал, что никакой жены у Феликса не было. Ни разу он не упоминал о ней, и в документах жены у него не числилось.

Почти весь июль Мария с Верой продолжали рыбачить на курьях. Но вот беда, ноги ее совсем не переносили холода, а вода остывала. В конце июля они рыбачили на Щучьем озере. И тут с ней случилась беда. Когда вели они с Верой невод, Мария провалилась ногами в яму, холод, напористый, сырой, охватил ноги, и они, как тогда, на подледном лове, перестали держать ее. Их стягивало судорогой, сильной, болезненной, и она камнем пошла под воду, утягивая за собой невод и свою напарницу.

— В водягу²⁶ попала! — крикнула Вера.

Бросив бредень, она устремилась к Марии, схватила ее за волосы, потащила к берегу. Мария не успела сильно нахлебаться. Вера посадила ее на берегу и помчалась в воду. Надо было спасать невод. Нырнув пару раз, она нашла и вытащила его. Случаев, когда женщины-спецпереселенки тонули в Енисее и на озерах во время рыбалки, было полно. Многие были из деревень саратовской степи и, как сами шутили, водоема больше, чем корыто для стирки, сроду и не видали. Какое уж там уметь плавать. А рыбу ловить надо было. Три дня назад Вера с Марией узнали, что на Утином озере перевернулись на лодке и утонули две женщины из станка Насоново, Соня Краус и Нина Даль. «Везли соленую рыбу, да не довели. Беда мне!» — сокрушенно сказал Поликарп Вере, привезшей рыбу, и сокрушение его в большой степени относилось к пропавшей рыбе, ведь он отвечал за план, а не за людей, которых умирало здесь несчитано.

Вера с Марией обе выросли на Волге. Отец Веры работал на мельнице, что стояла на другом берегу. С детства Вера и ее брат умели плавать и управлять лодкой. Старый деревянный мост чрез реку был далековато от них, и лодка в семье была ходовым транспортом.

Мария с того дня, как попала в водягу и чуть не потонула, захворала. Правая нога в стопе ныла и болела, вечерами ее лихорадило.

— Надо в поселок возвращаться, — решила Вера.

²⁶ Водяга — яма на дне озера, реки.

— К Поликарпу в бригаду? — загоревала Мария.

— В пруду у Поликарпа три карася, три карпа, — произнесла Вера, — к доктору тебе надо. Все. Завтра утром снимаемся.

Они переночевали последнюю ночь в шалаше, утром перетаскивали лодку к реке, собирали вещи, перенесли в нее все. И поплыли в поселок.

* * *

Измаил Осипович обрадовался Марии, но выслушав ее, сердито осмотрел стопу и сказал:

— Значит, я лечи траншейную стопу, надрывайся, трать бесценные лекарственные средства, а она опять. Я сказал, в холодную воду ни ногой! Так вас и будут на руках из ледяных ям вытаскивать?

Мария взглянула на доктора и поняла. Они оба сейчас вспомнили одно и то же: как Феликс нес ее на руках по медпункту.

— Если бы Феликс был жив, когда его привезли к вам, — произнесла она тихо и мучительно, — вы бы спасли его?

— Я осматривал его. Рана обширная и глубокая. Наверняка пропорота поджелудочная железа. И какие же у меня есть средства залатать эту самую уязвимую ткань? Расползающуюся в руках? Однозначно задет желудок, жидкость и кровь излились внутрь, конечно, был перетонит. Нет, никаких шансов.

— А Зэк Зэкович — где он теперь?

— Он не в моем медпункте, и этого мне достаточно, — сказал Измаил Осипович, — и вам, Мари, тоже.

Он помолчал, словно выдержал некую санитарную паузу.

— Что касается обострения вашей болезни. Это мы подлечим. Но больше никогда никакого рыбного лова.

— Что же мне делать? Кто не работает, тому хлеб не полагается. И рыба мне тоже не будет полагаться.

— Я ведь говорил, что собираюсь вас взять к себе в медсанчасть. Я буду разговаривать об этом с комендантом.

Мария смутилась. Получилось, что она что-то просит у таде.

— Если начальство спросит вас, учились ли вы на медсестринских курсах у себя на родине, скажите, что учились. Да, да, соврите, — энергично потрянул колпаком доктор, — допустите эту святую ложь.

В тот момент, когда Мария разговаривала с доктором, в пустом бараке лежала только что умершая женщина Фрида Михель. Ома Анна вывела всех детей из барака. Немного окрепшие за лето, они бегали друг за другом, негромко щебеча. Ома Анна сидела на большом чурбане строго и прямо, в своем повседневном темном платье с глухим воротом и длинными рукавами, в темном платке. Двое сыновей Фриды — шестилетний Анхель и трехлетний Алекс — сидели около, жались к ней с обеих сторон. Вера иногда играла в бараке с Алексом, живым, веселым ребенком, она любила его прежде всего за имя, ведь так звали и ее сына, и он был почти того же возраста, что ее сын. Самая маленькая дочка Фриды Лили спала в бараке.

Подходя к бараку с вещами, Вера узнала о смерти Фриды от омы Анны. Та тихо и спокойно сообщила эту новость ей по-немецки, и Вера по-немецки ответила:

— Ich trage die Sachen rein²⁷.

Она вошла в барак и услышала детский плач. Это Лили, которой было год и восемь месяцев, проснулась и, не понимая, отчего мать лежит и не подходит к ней, тряслась

²⁷ Я занесу вещи.

в плаче и что-то бормотала. Вера вслушалась и разобрала это требовательно-жалобное бормотание.

— Мама... эссен...²⁸

Вера бросила мешок, подошла к нарам Фриды. Истомленное, выболевшее лицо ее было теперь спокойно. Кожа натянулась, стала светлее и глаже, без морщин и складок. Не зря говорят: упокоилась. Вера склонилась к зыбке, лубяному коробу, стоявшей рядом с Фридой на нарах. Фридино лицо было теперь близко, и Вере показалось, что оно чуть-чуть улыбается. Вера взяла дитя на руки. Развязавшаяся шапочка упала, открыв кудрявую головку. Девочка, знавшая Веру, сразу замолчала, устала на нее круглые глаза.

— Ну, куколка, пойдем, — сказала Вера.

С ребенком на руках Вера отыскала на столе прикрытую омой Анной миску с кашей, нашла деревянную ложечку, посадила девочку на нары, стала ее кормить. Длинный широкий балахончик, в который была одета Лили, был весь влажным внизу, вероятно, девочка описалась во сне. Не найдя, во что переодеть ее, Вера завернула ее в одеяло и вынесла из барака. Она села около Анны, которая, казалось, не сделала ни одного движения за это время, что Вера отсутствовала, лишь глаза ее внимательно посматривали то в одну, то другую сторону, то снова прямо, она следила за детьми. Анхель, большеглазый, болезненного вида мальчик, все так же сидел, прижавшись к ее боку, но Алекс бегал теперь с другими ребятами. На минутку он подбежал к Вере, указал пальцем на крупные черные колечки кудрей сестренки.

— Танте²⁹ Вера, у нее колесики на голове!

Вера засмеялась.

Выражение лица мальчика было таким лукавым. Старая женская кофта, в которую он был одет, подвязана на впадом животе веревочкой, большие ботинки без шнурков были неудобными, он вылез из них и побежал босым.

— Дети... — сказала Вера, — ома Анна, ну были бы они хоть постарше. Их взяли бы в цех, пайку дали. А эти... на них ничего не дадут. Чьи они иждивенцы? В специальный детский дом повезут. Для детей переселенцев. Что там с ними будет?

— Es gibt noch gute Mensch überall³⁰, — ответила ома Анна.

Вера в тяжелой задумчивости держала девочку, покачивая на коленях. И Лили то ли от слабости, то ли от того, что ее покормили, снова уснула.

Фриду похоронили на другой день. В эту весну на пологом склоне Пихтовой горы у поселка было устроено кладбище, чтобы можно было похоронить всех, кто не выдержал зиму. Ровные ряды уже поросших травой глиняных бугров, обозначенные грубыми крестами или горкой камней, говорили, что у смерти был тучный год.

Вечером уложив спать детей Фриды, Вера присела на нары около Марии.

— Как хорошо, что тут его нет. Ни живого, ни мертвого! — сказала она, даже не называя имени Феликса.

Мария привстала, подобрав под себя ноги, села на нары. Печку сейчас почти не топили, сэкономили дрова для осени и зимы, и от пола тянуло холодом.

— Вера, прости ты его. Ведь он тоже из сосланных. Дитем его сюда привезли. Что он видел хорошего. Может, он не виноват...

— А кто, кто виноват? Мы меньше его пережили?

— Ты не все знаешь.

И Мария рассказала о том, как Феликс спас доктора от Гришиного ножа. И про ангела мамы Тани, взвешивающего на весах добрые и злые дела.

²⁸ Мама... есть.

²⁹ Тетя.

³⁰ Везде есть добрые люди.

— Не знаю, Моря. Может, Феликс и вправду что-нибудь доброе кому сделал. Пусть ангел твоей мамы Тани с ним разбирается. Но я от своих слов не отрекусь. Дух он исподний, и все тут. И больше о нем говорить не станем. Никогда.

* * *

Измаил Осипович пошел к Сиухину просить Марию к себе в помощницы. Аргументировал тем, что спецпереселенец Мария Варум, перенесшая траншейную стопу, не сможет заниматься ни рыбной ловлей, ни заготовкой дров. Привел и другой аргумент, что она начинала у себя на родине учиться медсестринскому делу. Были у доктора другие доводы. За лето в поселок Рыбачий, так теперь назывался их барачный поселок, перевезли еще немалое количество спецпереселенцев. Он обрастал все новыми жилищами, барками, домишками, землянками. Люди болели, то и дело случались тяжелые производственные травмы. Из всех окрестных поселков шли в больницу к Измаилу Осиповичу. Доктор не успевал, не справлялся, несмотря на действенную помощь Николая Ильича. Кроме того, он хотел бы расширить отделение для лежащих больных. Сиухин внял. И с сентября 1943 года Мария Варум перешла на работу в медсанчасть.

Вера работала в рыболовной бригаде Поликарпа и все заботы о детях Фриды взяла на себя. Каждую пятницу приходила она отмечаться в спецкомендатуру к Сиухину и поговорить о том о сем. У нее был привезенный еще из дома костюм — темно-синий пиджак в талию и узкая прямая юбка. Когда собирали они с Виктором вещи перед отъездом, он настоял, чтобы Вера взяла его. Ей не удалось выменять его на продукты или хоть на какую-то необходимую здесь вещь, а как рабочая одежда такой костюм не годился. Сейчас Вера надела его. Пригладила волосы, выгоревшие за лето, из каштановых сделавшихся золотисто-рыжими. Она шла к коменданту для серьезной беседы. Вера решила оставить детей Фриды у себя. По крайней мере, пока не кончится война и не вернется их отец. Она сильная, серьезная и хорошо позаботится о них.

Семен Сергеевич Сиухин по-особому относился к Вере, русской, ни за что пострадавшей женщине. Своя девка. Веселая, приветливая. Сам он с тех пор, как загнали его сюда да еще жена бросила, был постоянно либо в желчном, либо в подавленном настроении. Вся эта немчура боится его, разговаривают вежливо, а небось камень за пазухой держат. А Вера славная. Зачем вот только за немца замуж пошла? Да чего в жизни бывает. Кто знал, что их врагами объявят? Никто не знал. Он вот тоже не знал, что на севера попадет. Тоже вроде как сосланный.

Семен Сергеевич сидел за столом, заваленном бумагами, с растерянным и даже обреченным видом, будто ждал, что бумажное наводнение вот-вот снесет его с комендантского места. Он выслушал Верину просьбу.

— Голубушка, во-первых, мужа спецпереселенки Фриды Михель нет в живых. Я сам читал письмо, в котором сообщалось о его смерти.

— Я не знала. Она не говорила. Видно, не хотела, чтобы дети знали.

Вера подошла поближе к столу и тихо, доверительно сказала:

— Семен Сергеевич, Фрида — моя подруга, дети ко мне привыкли, я о них позабочусь. Сиухин не одобрял.

— Вера, я освобождения твоего добиваюсь, а ты детей приобретаешь?

— Приобретаю.

— Понравилось, гляжу, рыбачить? Уезжать не хочешь?

— Хочу, Семен Сергеевич. Но только вместе с детьми.

— Доложу, что ты отказываешься от вольной! — пригрозил он.

— Сема, не могу я без них. Ты же знаешь, я сына потеряла.

Вера хотела сказать — и мужа, но вовремя остановилась, зачем напоминать о нем Сиухину.

Комендант молчал. Думал что-то.

— Иди, Вера.

— Мы договорились, Сема?

— Договорились.

— Спасибо, а я утречками в бор пойду, груздей полную собируху³¹ насобираю! На-солю тебе. С хрусточком.

«С хрусточком», — повторил про себя Семен Сергеевич. Ну, до чего все-таки женщина хорошая! И всегда как человек придет. И костюмчик на ней! Прямо нравится мне она.

И бодрое счастливое расположение духа снизошло на коменданта и удерживалось весь день.

Подумав, Сиухин решил вопрос о детях не поднимать. Наиграется Вера в мамку, сама придет, попросит, чтоб их в детдом отправили. А ее Сиухин вызволит. И Антипов обещал посодействовать. Только что-то тянется долго. И вот не зря говорится: «Где ладья ни блудит, а у якоря будет!» В середине августа пришло разрешение покинуть Вере Шихт поселок, правда, без права поселения на прежнее месте жительства.

Искренне радуясь за хорошую женщину, что он смог вызволить ее, Сиухин вызвал Веру.

— Добились. Разрешение тебе пришло! — сказал он Вере, радостно вставая из-за стола. — Вольный ты теперь человек, Вера Шихт. Фамилию только поменяй на свою, русскую. В Саратовскую область пока нельзя. Сибирь, Урал, Казахстан.

Вера, усталая, осунувшаяся, но ясная и спокойная, стояла перед ним.

— Спасибо, Семен Сергеевич.

— Да за что спасибо? Я и сам рад, что не будешь ты тут жилы тянуть да под комендатурой находиться.

Вера подошла к нему, благодарно положила руку на плечо. Засмеялась.

— Вольная теперь. Могу коменданту руку на плечо положить. Помоги мне, Сема, с детьми уехать.

— Куда поедешь?

— Куда-нибудь поедем.

— Поедешь в Омск. Дам тебе адрес. Там сестра моя живет. Хорошо живет, — подчеркнул Сиухин. — Она и тебе поможет.

— Хорошо, Семен Сергеевич.

— Сегодня вечером в Глубоком на пристани грузовой лихтер будет стоять. Тут недалеко, сама знаешь. А потом в следующем месяце, должно быть, сделает последнюю ходку.

— Сегодня.

— У меня там знакомый работает. Возьмет тебя. Но тяжело будет плыть. Кабы одна, а с этой оравой... В трюме.

— Ничего, стерпим. Бывали уже в трюме.

— Будь тогда наготове, — сказал Сиухин.

— Буду, Сема.

Она направилась к двери.

— Вера!

Вера остановилась.

— Отслужу, приеду в Омск.

Она повернулась, чертики, дерзкие, озорные чертики плясали у нее в глазах, и сама Вера тоже начала приплясывать, выбивать дробь, топая аккуратными своими ножками:

³¹ Кузовок, корзинка.

— Мой миленок пузырек и берет под козырек...

Сиухин замахал рукой. Только песен да плясок у него в комендатуре не хватало.

— Иди уже. У тебя остается два часа на сборы. Я пока подготовлю документы, и ведь тебе положены подорожные!

Выйдя из комендатуры, Вера энергичным шагом направилась в барак. Но вдруг остановилась. Она ведь должна сказать Марии. И попрощаться. Вера развернулась и, сойдя с протоптанной переселенцами от комендатуры к бараку тропинки, пошла в противоположную сторону через набитый густой влажной зеленью хвои лесок, где стояла медсанчасть.

Тамбур и коридор медсанчасти встретили ее тишиной.

Не до болезней, видать, людям, когда селедка по Енисею идет. План гонят, усмехнулась Вера. Пошла влево, вдоль по коридору, остановилась у приоткрытой двери процедурного кабинета. Она увидела свою подругу в белом халате и высоком медицинском колпаке, склонившуюся над кем-то, кто лежал на кушетке.

— Ай, Мирьям³², добрая ты сестра, машшала.

Вера узнала по голосу Дилю, татарочку из второй рыбацкой бригады. Подол ее пестрого широкого не то пальто, не то халата, который она бессменно носила и зимой и летом, был загнут и уложен на колени.

— Сейчас мы пролечим это место, — сказала Мария. В правой руке она держала иглой вверх десятиграммовый шприц.

Диля вскочила.

— Лежи, Диля, — спокойно приказала Мария. — Это не больше, чем судороги, которые ты каждый день терпишь. По себе знаю.

Вера улыбнулась. В какого человека Моря выросла. И красавицу. А ведь какая неуклюжа была, дитя горькое! Так и мои ребятки, глядишь, вырастут!

Она смотрела на сосредоточенный профиль подруги, белую согбенную фигуру, спокойные движения рук.

— Прощай, лебеденыш мой, прощай, Моря. Авось и свидимся еще. Пуд соли вместе, может, и не съели, но со слезами точно выплакали не меньше.

Она пошла назад по коридору. И сдерживаемые тихие шаги ее, как сдерживаемые при разлуке слезы, никто не заметил. На улице начинался дождь. До отъезда оставалось несколько часов.

Роберт Иванович на той же подводке, что привез с Чертовой опушки мертвого Феликса, укрыв повозку сверху брезентом от проливного дождя, отвез Веру с детьми на пристань в Глубокое. Знакомый Сиухина старший помощник судна Захар Сидорович взял Веру с ребятами на свое грузовое судно, поместил, как и предрекал Сиухин, в трюме. После дождливой погоды выпали в дороге им солнечные дни, и чем дальше уплывали они от Туруханска, тем было теплее. В трюме стало влажно и душно, и на всякой остановке она выпрашивалась выйти с детьми на воздух, размять ноги, посмотреть на небо, подышать вольным воздухом. Старпом ругался, как сапожник, страшил Веру, что лихтер арестуют за провоз граждан, а самих граждан отошлют гораздо дальше, чем Туруханск, но сила убеждения и обаяния Веры была такова, что он всякий раз сдавался, повторяя: «Не было заботы, купил я поросся!»

Те запасы продуктов, которые Вера брала с собой: сушеная рыба и вяленая оленина — широкий жест Сиухина, крупа, хлеб, выданный в раздаточной, и две тушенки, извлеченные из вещмешка Феликса, кончились. Вера старалась хоть что-то добыть на стоянках. Десятидневная дорога вымотала детей. Оба мальчика схватили вшей, и она не понимала откуда, от кого, в трюме, что ли, эти вши ползали? Исцарапанные до кро-

³² Мирьям — татарское Мария.

ви головы и тощие изможденные тела ее детей кусали проклятушие гады! Она не могла выносить этого, но ничего нельзя было сделать. Вот уж доедут до Омска, тогда она их враз выведет. На очередной стоянке у каменистого берега, день, слава богу, стоял сухой и солнечный, она повела детей в прибрежный лесок, сняла с них одежду, разложила на камне и, найдя другой, поменьше стала лупить им что есть силы по завшивленным швам рубашек и штанов. Она была сильно, остервенело, так, словно хотела вместе со вшами уничтожить, убить все грязное, гадкое и наглое, что было в ее жизни после выселения из родных мест.

Они проплыли еще двое суток. И тут заболела Лили. С сильным жаром, кашлем. Она тяжело дышала, грудка ее ходуном ходила. Вера решила дальше не ехать. В Енисейске попрощалась она с добрым Захаром Сидоровичем, перетащила на пристань вещи, при этом Анхель и Алекс усердно помогали ей. Из ценностей были у нее с собой соболья шкурка Феликса, немного денег, выданных на дорогу, как положено было по разнарядке, и трое детей. Она помнила слова омы Анны: везде есть добрые люди — и надеялась на них.

Глава десятая

В хирургическом отделении районной больницы небольшого городка на юге Красноярской области всегда в паре работали немолодой хирург Измаил Осипыч Алимов и юная медсестра Мария Варум. Измаил Осипович устроился сюда на работу в 1946 году, Мария приехала годом позже. Горожане быстро поняли, что обрели в лице доктора бесценное сокровище. Расторопный, простой в обхождении, он был потрясающим хирургом, вытаскивал таких безнадег, что диву давались даже коллеги. Ассистировала ему медсестра Мария. Люди, работавшие в этом отделении, удивлялись их нежной дружбе, в том числе тому, как на операции доктор говорил своей ассистентке:

— Зажим, Почему-та.

— Айн момент, таде, — отвечала она.

Выяснилось, что «таде» означает по-немецки «отец». Но эта парочка, они не были родственниками, доктор жил в комнатке на первом этаже при больнице, а Мария снимала угол в коммуналке на Коммунистической улице у санитарки Фаины Ивановны. Ее отец все еще оставался в трудармии, на шахтах, был жив и более-менее здоров. Она ждала его. Вот-вот должны были отпустить всех трудармейцев. Отец писал: «У нас уже сняли колючую проволоку. Настал конец „зоне“, лагерному режиму. Сегодня начальник сказал, что многие из нас добросовестно трудились и скоро нас выпустят. И мы, Мари, вместе вернемся домой. Я так хочу домой...»

От автора

Возвращение домой спецпереселенцев и трудармейцев затянулось на долгие годы. 26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ, запрещавший депортированным немцам возвращаться на прежнее место жительства. Нарушившим запрет грозило тюремное заключение сроком до двадцати лет. Через десять лет после окончания войны был отменен режим «спецпоселения» с регулярными явками в комендатуру. И лишь в 1972 году вышел указ о свободном выборе постоянного места жительства. Указ не был опубликован и не получил широкой огласки.

Немецкой Республики Поволжья больше не существовало. Родные села стали неузнаваемы, им дали другие названия, а их дома давно были заняты другими хозяевами.